

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



МАМОЧКИН СЫНОК

Повесть из романа “Русские мальчики”

1

Начать надо с того, что свою маму я называл не мамой, а мамочкой. И лишь вырастая, уяснил, что это не мамина и даже не бабушкина прихоть или каприз, а правило, пришедшее откуда-то издалека, из-за горизонта, из-за революции. Бабушка-то моя, то есть мамина мама, родом из поморских, как выражалась она, мещан, бывших рыбаков, вроде как небольших, да начальников над прочим людом. Но раньше они были рыбаками, получается, крепкими рыбаками, раз других превзошли, что даже выдвинулись, стали чем-то и кем-то управлять. А пока эти бывшие рыбаки, маленькие начальники, росли и поднимались, принимали они свои — а, может, и не свои — небольшие правила.

Это уж потом, переходя из класса в класс и уясняя крупные и малые достоинства и недостатки нашего дальнего прошлого, я вычитал, что правила-то эти не такие уж небольшие, и вовсе не мещанского происхождения, а что ни на есть дворянские, да и пришли-то к нам из разных расфуфыренных, в париках, заграниц.

А бабушка поясняла мне, что лично она-то звала свою маму не мамочкой, а вообще — маменькой. А с меня, мол, уж ладно, и этого хватит. Но к оставшейся вежливости обращения была строга и неуступчива.

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.

Маму надо звать мамочкой, а обращаться к ней на вы. “Вы, мамочка! Вам, мамочка! Что вы сказали, мамочка!” И далее — в том же духе.

Сказать честно, я искренне слушался бабушку, покорно ей подчинялся, уважал рыбаков с сетями, а мама моему ласковому обращению не противилась, хотя к своей-то маме обращалась на ты.

Окружавшие взрослые в малые мои годы даже гладили меня по голове, принимая за образцово воспитанного ребёнка — раз я обращаюсь к мамочке на вы. Но вот с годами слышавшие моё обращение, внимательно, даже как-то подозрительно, вглядывались в меня, а я постепенно обучался невинному, но лукавству: говорить таким образом, что в моей речи не было обращения — ни вы, ни ты! Составлял этикие рубленые, как коротенькие полешки, фразы, надрессировался и слово “мамочка” опускать.

Она поглядывала на меня испытующе, но кротко, мимоходом, ничего не говорила мне, но и согласия перейти на “ты” почему-то не давала.

Хотя ведь я этого и не просил...

2

Мамочка моя была молодой и прекрасной. Да и всё, происходившее со мной до войны, слилось во мне в светлое, лучезарное, радостное пространство, где все любили меня, гладили меня, носили на руках или на спине. Но ближе всех всегда была мама.

Это она уже смотрела на меня, улыбалась, когда я просыпался, и тут же целовала. Это она умывала меня и одевала, как будто нарочно оставляя бабушке всякую прозу жизни — горшок, зубную щетку, ничего не обозначающие фразы и много чего значащие наставления, которые всякое дитя пропускает мимо ушей, озираясь по сторонам, постепенно освобождаясь от тёплого, сладкого сна, вступая в новый праздник своей жизни и вовсе не думая о том, сколько будет ещё таких дней.

Мама убегала на работу — она всегда торопилась, оставляя на свои передвижения самое малое время. А когда прибегала, то кричала с порога моё имя, приближалась ко мне и тесно прижимала к себе мою голову.

Она работала в лаборатории железнодорожной поликлиники, а во время войны — в военном госпитале, но от неё никогда не пахло лекарствами или ещё чем-то не домашним. Но всегда — свежестью, чистотой и ещё чем-то поразительно приятным, вроде, к примеру, лесной хвои.

Теперь-то я знаю, что так пахнет молодость.

Когда человек полон желаний, радости, не заглядывая далеко, живёт счастливыми намерениями, которые непременно исполнятся, тогда от него веет свежестью, особым духом надежды, какой-то особенной силы, передающейся другим. Да! И сила имеет свой крепкий аромат!

Я вдыхал запахи мамы, я прижимался к ней, самой главной и самой справедливой моей надежде и ведь как в такой миг не прошептать с благодарностью — мамочка!

Но это — до войны!

До войны мама шла после работы за мной в детский сад. На ней часто была очень яркая, будто сияющая электричеством, светло-зелёная кофточка, а в руке — мандаринка в полупрозрачной хрустящей бумажке. Я бежал к ней навстречу, раскинув руки, будто самолёт, а она протягивала мне свой ароматный подарок. Но я бросался к ней на шею и слышал, вдыхал её запахи, где к чистоте ещё примешивался запах сияющей мандаринки.

Так вот — мама... У неё были серые волосы, зачёсанные назад, серые глаза, но щёки сияли тонким румянцем, и вся она сверкала — для одного меня, что ли? — какой-то неведомой мне по малости лет неугаваемой свежестью.

Так что довоенная пора — а это, между прочим, пять с половиной моих лет, вполне осознанный возраст — слилась во мне в светлое, чистое, радостно пахнущее и счастливо звучащее пространство с мамочкой в начале всего сущего.

Может, всё от того, что родила она меня, когда ей был двадцать один год, а отцу двадцать шесть. Война началась в её двадцать семь, а закончилась — в тридцать один! Бог ты мой!

Отец работал слесарем на заводе, вступил в партию, и когда началась война, пошёл на неё добровольцем. Мама, закончив медицинское училище, работала лаборантом. В первые же недели войны её перевели в госпиталь.

Цвета и запахи жизни переменялись.

Запахло чем-то прогорклым.

Так пахнет, когда перегорает машинное масло.

3

Вот и снова война заходит в мою душу, уже не детскую, но удивительным образом сохраняющую давнее прошлое во всех его запахах и цветах. Будто не выцветающую цветную открытку.

Она заходит так, как было в самом деле, потому что невозможно что-то выдумать за незнающее, неопытное детство.

А было так, что я в свои неполные шесть лет не понял страха войны. В киножурналах, которые показывали перед началом фильма, и куда меня брали с собой родители до войны, катались грозные танки, маршировали надёжные солдаты, которые кричали “Ура!” — и я просто видел это, просто узнавал, а потом забывал, потому что жизнь после кино шла своим счастливым чередом, а мама и папа при мне не говорили ни о какой войне.

Но, может, говорили — а я не понимал? Да нет, всё-таки что-то понимал. В садике мы рисовали эти танки, самолёты, которые видели всё в том же кино или на картинках. Пририсовывали на них, высунув языки, наши красные звёзды. И ещё откуда-то знали, что мы победим, если враг нападёт.

И вот она началась.

Стало пусто.

По утрам отец не уходил на работу, а вечером не возвращался.

Всё сжалось. Может быть, даже вещи стали меньше размерами. И совершенно точно, они разом постарели — наш комод, шкаф, стул со стульями... Посерели и усохли.

Мама с бабушкой говорили реже, меньше, тише. Будто в нашем доме кто-то тяжело заболел.

Только утром, когда я просыпался, надо мной, как всегда, склонялось мамино лицо, розоватое, безмятежное, улыбающееся. Словно не было никакой войны, никакой беды, а у папы просто очень длинные смены на работе.

В госпитале мама узнала, что все, кто идёт на войну, сначала проходят короткую подготовку. Привыкают к оружию, к правилам, к командам и разным там действиям. Почти тут же ей передали, что в таком военном лагере находится и отец. А до лагеря надо ехать часа три поездом, а дальше как-нибудь добираться ещё десять километров.

Я слышал всё это от мамы, разволнованной до самого предела. Мне ещё не приходилось видеть её такой. Она торопливо передвигалась по комнате, открывала и закрывала шкаф, собирала какие-то отцовские вещи и тут же возвращала на место. Бабушка успокаивала её: он в армии, в солдатской форме, он сыт, ему ничего не позволят передать. Опомнись!

Примерно так окорачивала мою маму наша мудрая бабушка, но та не успокаивалась, объясняя: её отпустили на три дня в госпитале, даже дали предписание на железную дорогу — принять её как командированную до нужной ей станции с медицинскими поручениями от этого её эвакогоспиталя!

Будто какой-то неожиданный снегопад или крупный ливень, упали на нас тогда новые слова. Это были слова военной поры!

Эвакогоспиталь номер такой-то означал, что туда эвакуируют из боёв раненых военных. Ну и слово “эвакуация” означало новую жизнь. Поезда с эвакуированными, значит, организованно отправленными людьми, шли без всяких расписаний в тылы, подальше от фронтов. Эвакуировали, конечно, людей, но ещё и коров, например, если успевали, целые заводы — ими оказывались открытые платформы с промышленными железными, даже подъёмными кранами. Слово “эпидемия” обозначало болезнь, которой болеет

сразу много народа. Под словом “диверсия” подразумевали таинственных врагов, одетых в штатскую одежду, которые могут сигнализировать фонариком в небо, чтобы прилетели и сбросили на нас бомбу вражеские самолёты. Появилось слово “затемнение”, когда требовалось закрывать окна к вечеру плотной материей, чтобы светящиеся окна не привлекали врага.

В городе стало не только тихо, но и темно по вечерам.

А мама, “откомандированная” из “эвакогоспиталя” в “лагерь”, металась по комнате и наконец села на стул.

Я пришёл к ней, прижался, обнял, как мог, своим почти шестилетним объятием, и сказал с нежностью:

– Мамочка...

Вот когда я споткнулся первый раз самым серьёзным образом!

Я боялся за неё, боялся пока ещё не войны, а перемен, которыми она одаривала, включая новые слова, и мне было страшно за то, что ей придётся уехать почти что неизвестно куда! И как она оттуда сможет вернуться... Но! Но она же хотела добраться до отца, вот что! Она хотела увидеть его ещё раз! Обнять его и поцеловать, сказать какие-то особенные слова, которые говорят друг другу взрослые. Отцу, который вот-вот уедет на войну, как уже уехал его родной брат Борис, из этого же самого лагеря пославший открыточку их с отцом маме. Всего три слова: “Уезжаю в действующую армию...”

Дядя Боря уехал, отец – следующий. А я приготовился сказать маме: “Мамочка! Не уезжай!”

Но я сказал, снова и снова вдыхая её чистый запах:

– Мамочка, поезжай! Вот моя картинка папе.

И дал ей листок, где был нарисован корабль с парусами. Таковую картинку нарисовать очень нетрудно, меня папа и научил: сначала делаешь треугольник, только вниз головой, над ним, посередине – мачта, а там уж прибавь к нему паруса с двух сторон, ну, а дальше изобрази волны.

Вот такой парус я тогда нарисовал, как мог, и приписал самое простецкое: “Папе”. Я уже знал некоторые буквы и мог написать главные слова.

Мама глянула на мою картинку и заплакала. Но плакала она очень странно – слёзы катились к краешку носа по щекам, а лицо было очень решительным.

4

Я и подумать не мог, что без мамы станет так страшно. Моя мудрая бабушка водила меня по утрам в детсад, а там шла бодрая жизнь, без всяких упоминаний о войне, нас поили и кормили, как и раньше, как и всегда мы учились петь и танцевать, ходили гулять парами вокруг нашего двора, усаженного акациями, и двухэтажного дома, где до революции жили какие-то богатеи, и мы с моим приятелем Димкой – в спальне наши кровати стояли рядом – обсуждали всякие всякости, кроме одной. Войны.

У него отец стал артиллерийским офицером, мой – простым солдатом, но до фронта они ещё оба не добрались. Один принимал орудия, другой учился в лагере. Всё-таки ещё не на войне.

Но мама? Где она?

Я, не понимая сам, вдруг останавливался, замирал, мои глаза, наверное, стекленели. Я ни о чём не думал, вот ведь что. Просто леденел. Отчего – и сам не понимал, ведь с мамой ничего не случится. Эта уверенность переполняла меня, как будто я какой-то счастливый сосуд с волшебным знанием внутри себя. Но сосуд, оказывается, протекает. Самоуверенность какими-то рывками вытекала из меня, и я замирал, стекленел, леденел. А вдруг...

Это “вдруг” каким-то образом крепчалю, повторялось всё чаще. И ничем не подтверждаемая тревога притискивала меня.

Так что, если первые сутки без мамы я ещё держал себя в руках, то на вторые, к концу дня, кто-то будто постучался ко мне внутри меня, и многие годы пройдут, пока я пойму, что вот так стучусь к себе я сам.

Как это называется? Предчувствие? Тревога? Неуверенность? Беспокойство? А может, всё это вместе взятое, взявшись за руки, и стучит, будит, предупреждает? А потом – и кричит?

Весь этот день я прожил, то спотыкаясь на ровном полу, то надолго замирая возле подоконника, то совсем не слыша вопросов, обращённых ко мне... Моё обледенение нарастало, а уверенность вытекала...

Вечером я засыпал с трудом, вытребовав у бабушки согласия завтра в садик не ходить, а вместе с ней отправиться в эвакогоспиталь, где служит мама, чтобы узнать, где она и что с ней.

Но до завтра дело не дошло. Ночью послышались какие-то стуки и бряканья, я проснулся и сразу вскочил.

Мама, моя мамочка сидела на стуле, а ноги её были в тазу. С воплем я кинулся ей на шею и едва не опрокинул. Она вскрикнула, целуя меня, но не от радости, а от боли. И я только тут увидел, что мамины ноги в тазике окровавлены, а рядом стоят её почерневшие, и так-то тёмные, туфли.

Моё просыпание маму будто освободило, она громко заплакала, потом стала рассказывать, что и как с ней произошло.

На поезде ей пришлось уехать сразу, потому что предписание эвакогоспиталю было вроде волшебной палочки. Поняв, что она медицинский работник и направляется по делу, начальник первого же эшелона на запад сразу приказал пристроить её в теплушку. Поезд был по-настоящему военный, длинный, он тащил платформы, укутанные брезентом, а под этим укрытием прятались танки. Ну и несколько вагонов с танкистами. Ребята были молодые, весёлые, пели да смеялись, кто-то к маме попробовал пристать, но старший громко проговорил, что это медсестра и едет на срочное задание. Веселье сразу погасло. Мама заметила мимоходом, что, наверное, каждый подумал тут о том, как может понадобиться медсестра ему самому совсем скоро.

— В общем, — сказала она, — испортила им настроение. Запели снова, только когда я сошла на своей станции. Махали руками!

Но потом! Потом она познакомилась ещё с двумя женщинами на почти сельском вокзальчике. Про лагерь требовалось говорить негромко, осторожно, потому что там собирались военные перед отправкой на фронт. От станции их доставляли грузовиками. Но вышел приказ, грузовики все ушли в лагерь и на станцию не возвращались. По слухам, там объявили карантин.

В войну ведь всякие болезни бродили — и брюшной тиф, и может быть, холера, и туберкулёзы всякие, но я эти слова узнавал постепенно и подрастая. А тогда мама назвала болезнь дизентерией.

Людей, как выразилась мама, несёт, — я, хоть и маленький, уже знал, что означает это слово. Зараза передаётся от человека к человеку даже через рукопожатие, нужна серьёзная дезинфекция — тоже словечко почти военное — особенно, когда вместе собраны несколько тысяч взрослых мужчин.

Мама, может, лучше двух этих других женщин знала, что такое эпидемия, карантин и дизентерия. Но женщины двигаться дальше пешком, да ещё десять километров, отказались. А упорная мама решила идти. Конечно, в карантин никого не пустят, но она надеялась на свою медицинскую подготовку, а ещё — на свои почти военные бумаги.

И она пошла. Но не по дороге, а по берегу реки. Ей сказали, что по берегу выйдет километра на три поближе. И она ринулась по этому берегу: песок, тропки, колдобины, бездорожье, лес.

Пробовала идти босиком, но всё-таки она горожанка и плохо это у неё получалось. Туфли, хоть и без каблучков, ноги натёрли до мозолей, мозоли лопнули, пошла кровь.

Добралась до лагеря совсем обезножив — вот такое мама проговорила слово. И бабушка кивнула, понимая. А я снова посмотрел на тазик. Мамины ноги уже не кровоточили, но распухли. Бабушка сыпанула в тазик соды.

И вот мама стоит перед забором из колючей проволоки, по углам вышки с часовыми, а сам лагерь за проволокой — обыкновенный жилой посёлок из бараков. Мама стала обходить забор, отыскивая КПП, контрольно-пропускной пункт, её несколько раз окликали часовые, велели отойти подальше от забора, она отвечала, что у неё предписание эвакогоспиталю, и часовые меняли голос, добрели, объясняли, как подойти к воротам.

Скоро она увидела палатки с красными крестами на стенах, обрадовалась и удивилась: палатки стояли перед забором, а не в лагере. Заглянула, показала документы, объяснила, зачем пришла.

Женщин в палатках она не встретила, там были одни мужчины, тоже в военной форме. Один командир ей сразу присоветовал убраться домой — никто её в лагерь не пустит. Да мама и сама знала это. Смирненно попросила:

— Могут его позвать?

— Если не лежачий, — проговорил этот хмурый командир и велел передать запрос охране. — Но будете говорить, не приближаясь. Через проволочку.

Она ждала очень долго. Ей дали бинт, она перебинтовала ноги, но туфли не налезли, и она, пополивав их из чайника с холодной водой, опять как-то влезла в них.

И тут, как из тумана, появился папа.

Он был в солдатской форме, стоял метрах в десяти от колпочки и ласково сердился:

— Ну зачем ты пришла? Зачем мучилась? Я в порядке. Меня пока обошло. Сына целуй.

Она просила передать охрану мою картинку, и солдаты согласились. Отец ее посмотрел. И поцеловал.

Маме сказали, что на станцию идёт грузовик за хлоркой. И есть место рядом с водителем. Но, на всякий случай, ей лучше сесть в кузов, хотя она этой хлоркой уже провоняла насквозь. А водитель не болен, нет, но мало ли, если у неё дома ребёнок...

Это всё ей выговорил тот суровый командир из палатки с красным крестом. И мама только махнула отцу.

— Напиши!

— Пока карантин, писать нельзя! Напишу, когда всё пройдёт!

Она тряслась в кузове и радовалась до слёз: ведь обратно дойти пешком, и снова берегом реки, больше не смогла бы.

И тут мама рассказала про обратную дорогу. На восток, к нашему городу, шли один за одним эшелоны с беженцами. Её втокнул военный комендант станции, посмотрев предписание и глянув на ноги. Она приткнулась на чей-то мешок в тамбуре. Хозяева мешка, когда маму посадил на ступеньку сам комендант, предложили сесть и всю дорогу рассказывали, что едут, не зная куда. Может, в наш город, а может, на Урал, где высадят и распределят к месту жительства. Эти попутчики бежали из Белоруссии, работали учителями, но знали, что все школы в тылу заняты эвакуированными учителями...

— А вагон, — сказала мама, — забит под потолок людьми, можете представить?

Бабушка кивала, представляя, а я не представлял: как это, под самый потолок? Лежат, что ли друг на друге? Но тогда верхние задавят нижних.

Спросил маму. Она ответила:

— Примерно так!

Рано утром, натянув на ноги маме несколько пар носков, а сверху отцовские калоши, бабушка отвела маму на работу в госпиталь: ей нельзя было опаздывать из командировки по военному предписанию.

К обеду маму уже привезли домой на машине и дали больничный. Я этого не видел, потому что был в саду и пересказывал мамини происшествия другу Димке.

На душе снова было чисто и светло: мама дома, а папа поцеловал мой кораблик.

5

И мы стали ждать весточку от отца.

Это слово походит на слово веточка, и я глядел на веточки, с которых слетали листья. Осень только наставала, но листья уже опадали, напоминая вести о разных разностях, и я думал, что всем-всем людям, раз наступает осень, скоро придёт много-много весточек откуда-то издалека, и уж среди них обязательно прилетит папино сообщение. Оно будет означать, что карантин кончился, что он не заболел...

А вот — дальше? Дальше я не знал, чему надо радоваться. Что отец уезжает на фронт?

Это краткое слово обозначало неизвестно что.

Мне было ясно, что такое хлеб. Даже кровь. Но — фронт? Что это такое? Небо? Земля? Люди? Танки и пушки, которые стреляют друг в друга? Может быть — это соединённое всё вместе, со страшным грохотом, стонами, страхом взрослых мужчин и их отвагой. Но как это можно вообразить сразу всё вместе? Да ещё малому человеку, каким я тогда был?

И тут мама достаёт из почтового ящика открытку, опять в три слова: “Здоров, целую, папа”. Ах, эти три слова! Почему не напишет про здоровье, что делает и как он выглядит, этот фронт, куда пошёл добровольцем?

Мама сидела, согнувшись над этой открыткой, на ней не обнаружилось даже номера полевой почты, а это, рассуждала она, по военному времени означало, что обратного адреса нет и написать в ответ некуда.

Мама вслух разбирала обстановку.

— Похоже, открытку бросили с дороги. Куда-то едут или идут. Но ещё не приехали, не пришли. И не знают, где они.

Ничего себе!

Она вздыхала, но не бродила по комнате без цели. Моя мамочка всегда чего-то делала или доделывала. Топила печку, варила картошку, пока она была ещё с довоенного времени. Что-то стирала и подстирывала. В той же печке грела железный утюг и подглаживала мою детскую одежку. Самым бездельным делом она считала штопку носков и чулок, но с продолжением войны её отношение к этому занятию изменилось, потому что новые носки и чулки можно было только выменять или задорого купить на барахолке. А на что менять-то? Ну, и деньги — их в обрез! Так что ценность чулок и носков не падала, а вырастала с каждой дыркой на них, и мама, вместе с бабушкой, стали пришивать к проношенным пяткам лоскутки от разных тканей. Эти лоскутки отличались цветом, а потому снимать обувь в каком-нибудь приличном месте было не здорово.

И вот рядом с нами грохнул снаряд. Да и какой! К нам пришла папина мама, моя вторая бабушка, которую звали Елена, и протянула маме листок. Он был из военкомата, и мама, прочитав его, сразу осела, чуть не промакнулась мимо стула.

— Боже! — прошептала она, а бабушка Елена стояла, опустив голову, а вместе с ней очки в чёрных дужках, и эти дужки со стёклами отошли от лица, от носа, где им положено сидеть, и висели, держась только за бабушкины уши. И с носа у неё часто капало. Я не сразу понял, что это слёзы.

Мама поспешно собрала меня и свою маму, бабушку Маню, погулять, и эта моя бабушка Маня всё охала и причитала, пока мы не покинули дом, а на улице сказала:

— Дядя Боря пропал без вести.

Дядя Боря был человеком крепким, сильным, не торопился жениться и таким вот неженатым человеком его забрали на войну раньше моего папы.

Ясное дело, я дядю Борю любил, а он обожал поднимать вверх пудовую гирию — она и сейчас ржавела под кустом сирени у дверей — и подбрасывать меня к небу. И вот таким — сильным, плечистым, смеющимся в голубой майке на фоне нашего благоухающего куста сирени он жил во мне. До сих пор живёт.

Только тогда я понял, что произошло, заплакал и остановился. Бабушка уговаривала меня, употребляла ласковые слова, но они меня унижали, эти успокоения!

Пропал без вести мой дядя Боря, и я, хоть и маленький, но понимал, что это обозначает.

Бабушка говорила, что это извещение лучше, чем похоронка, потому что дядя Боря может оказаться с партизанами, где-нибудь в немецком тылу, раненый, например, и, когда поправится, даст о себе знать. А я по-взрослому понимал, что этого ничего не будет, и бабушка просто уговаривает меня.

Впрочем, я ухватился за эти слова. Человек самого разного возраста спасается надеждой, и я не хотел, чтобы дядя Боря исчез просто так, не предупредив и толком не попрощавшись.

Разве можно считать прощанием, когда он поднял меня, почти шестилетнего, посадил к себе на плечи, уходя на войну, и пробежал со ржаньем до калитки и обратно? А потом накинул на плечо вещевой мешок и ушёл за угол.

Нет, он не мог просто так исчезнуть. Так не бывает. Эти надежды подтянули меня. Сделав небольшой кружок возле дома, мы вернулись, а мама сидела у стола одна.

Лицо её снова было в слезах, но открыто и спокойно. Она будто смотрела прямо в глаза чему-то страшному.

— Война! — сказала она как-то подавленно и добавила: — Теперь каждому надо быть готовым ко всему.

Она посмотрела на меня и поправилась:

— Кроме тебя.

Прибавила:

— Тебя я не отдам!

6

Маленький человек не знает жизни. Он не понимает, как именно поступить в трудном положении. Не знает, как и что ответить другому, особенно если этот другой старше его.

Но маленький человек обладает предчувствием. Слово-то какое: пред и чувство! Это значит, он говорит с взрослым, например, человеком, слушает его, видит его поступки, и вдруг понимает, что этому взрослому, даже твоей собственной маме, тревожно и горько. Она смотрит на тебя, но думает о другом и видит что-то другое.

А когда перекрещиваются, как лучи, окружающие события — например, малопонятное письмо отца, извещение про дядю Борю и эшелоны с ранеными, идущими прямо с фронта, — то всё это перекипает в маме и становится тревогой.

Беспокойный взгляд на меня, рассеянные разговоры с бабушкой, ответы, невпопад — всё это мама. Изменившаяся как-то неожиданно, переставшая не то что смеяться, а даже улыбаться, серенькая от роду и посеревшая ещё больше, иногда даже со сжатыми губами — так она выглядит долгие часы, пока её не отпустит. Тогда вздохнёт, что-то сбросит с плеч, будто вспоминая забытое, посмотрит на меня, и себя ругнёт — о чём, мол, ты думаешь, когда вот он, твой сын, перед тобой!

Однажды моя ласковая мама как-то задумчиво наклонилась ко мне, чтобы поцеловать перед сном, и я спросил её, похоже, грустно, совсем не по-детски:

— О чём думаешь, мамочка?

И она сразу отозвалась, как будто давно знала, что ответить на мой такой важный вопрос.

— О папе!

— Где-то он сейчас? — вздохнул я. И мама молча заплакала.

— Откуда ты знаешь? — спросила она, разглядывая меня, будто незнакомаго. — Что я думаю именно этими мыслями?

— Я же ваш сын! — как взрослый ответил я.

Она ещё раз поцеловала меня, подтянула моё стёганое одеяло, подоткнула его края под меня и быстро, словно опаздывая куда-то, отошла.

Из-за забора детского сада, где я проводил всю неделю, кроме воскресенья, нам, конечно, мало что было видно. Женщины, служившие там, и особенно наша воспитательница Варвара Клавдиевна, кажется, нарочно вели себя так, чтобы мы меньше знали о войне. Ну, пройдёт под окнами колонна грузовиков с солдатами на лавках, так мы и без всяких объяснений знали, это едут они на вокзал, а оттуда под Москву. Ну, процокают копытами лохматые лошадки, тянущие за собой пушку с дулом, закрытым брезентовым чехлом, так они тоже цокают колонной, движутся к станции. Не то чтобы всё, но очень многое выгалося к железной дороге. И от неё тоже.

Людей с мешками и чемоданами, даже по одежке видно, не наших, возили больше на подводах, высаживали возле разных домов — больших, же-

ковских, и маленьких, частных, и это означало, что им дали жильё, устроили. На сколько — никто не знает. Это называлось эвакуация.

Грязь на улицах заледенела, просыпался первый снег, ударили морозы, небывало жестокие, как сказала бабушка.

Дома мы слушали радио, чёрную тарелку, висевшую на гвозде, и я не раз потом думал, почему эти тарелки всегда были чёрного цвета? А, может, лучше бы голубой, как небо, и жилось бы тогда, глядишь, повеселей, ведь голубым бывает весеннее утро. Или жёлтым — как букет одуванчиков. А светло-зелёным, таким салатovým?..

Но я быстро распростился с цветовыми иллюзиями. Кто-то очень мудрый выбрал для радиотарелок именно чёрный цвет, потому что глупо слушать об отступлении Красной Армии из голубого или жёлтого репродуктора. Даже с ума можно сойти, наверное. Голос Москвы горький, тревожный, мучительно тоскующий о радостных сообщениях, а звучит, допустим, из прибора радостной окраски! Чёрная тарелка скажет добрую новость, так про её цвет никто ничего не подумает — и так будет светло! А вот горькая новость — из цветного круга — это же прямое издевательство!

Небывалые морозы тоже ударили неспроста. Мама сказала, что в госпиталь стали поступать сильно обмороженные, особенно снайперы, и среди них женщины. Бабушка удивлялась, что в снайперы берут женщин, наверняка, молодых, а мама вздыхала, примеряя, видно, к себе такую военную службу: лежать в белом масхалате где-то в снегу и не шевельнуться от темна до темна! Это ей рассказала одна такая обмороженная героиня.

По радио тогда не шутили, что Дед Мороз воюет с врагами на нашей стороне, что он нам помогает побеждать. Это уже после войны стали рассказывать, что некоторые немецкие части в сильные морозы не выдерживали и отступали. Потом про морозы перестали говорить совсем.

И вдруг... Вдруг с работы в детсад прибегает мама.

Я ничего не соображаю, но всё вокруг говорят, кричат, смеются мне:

— Папа! Папа! Твой папа!

Я скатываюсь с лестницы и только тут постигаю великую — ну просто небывалую, невероятную, никак нежданную новость — папу привезли в эвакогоспиталь, где работает мама.

Раненого!

Мама обнимает меня, торопливо одевает, перевязывает горло шарфом, и мы бежим к ней на работу. В эвакогоспиталь! К отцу!

По дороге она рассказывает, что папу ранило под Москвой, но он не мог, не имел права писать, где находится, да и времени даже на письмо никак не находилось — всё ждал какой-то остановки, пусть минутной, — а их пересаживали с поездов на машины, и с машин на поезда, потом они двигались пешком, окапывались, готовились к бою. Чуть ли не первым же вражеским снарядом отца зацепило, как он потом объяснит мне, “чиркнуло” осколком.

Но в тот раз мы почти бежали от детского сада к маминому госпиталю, и она без конца повторяла, какие же чудесные у неё подруги по лаборатории: узнав, что в госпиталь привезли моего папу и маминого мужа, пошли к своему начмеду Викторову, и тот сам велел маме бежать за сыном! То есть за мной!

Во мне, конечно, немножечко разливалось что-то хорошее, почему-то же все сразу поняли, что отцу надо срочно повидаться со мной, с мамой-то они уже встретились! Но все нежности и добрые чувства отодвигались в сторону, пока мы пересекали полгорода пешком, потом мама вела меня в госпиталь через вход для сотрудников, раздевала в лаборатории, брала меня за ладонь, мы двигались по коридору, отчего-то крепко пропахшему щами — и поднялись, наконец, на обширную площадку, откуда шла вниз широкая лестница, ведущая к красивым, старинным, но закрытым дверям.

По существу это пространство было обыкновенной лестничной площадкой, только очень большой, предназначенной не только для передвижений, но даже для прогулок по ней красиво одетых старинных людей, курящих длинные папиросы в красивых мундштуках, дам в платьях до земли и в шляпках. Да ещё и с бокалами шампанского в руках.

Но теперь здесь стояли впритык друг к другу железные госпитальные койки, много коек. Неожиданно я услышал чей-то стон, сжался мгновенно и стал оглядываться. Тут-то меня и окликнули по имени:

— Николай!

Я сразу узнал голос отца и не успел удивиться, что он окликнул меня совсем по-взрослому, полным именем. Я развернулся на голос и торопливо, обходя кровати, двинулся на него, ещё не видя папу! Потом увидел!

Он не лежал, а сидел на койке возле ещё одной двери, ведущей в зал — а там было как на вокзале! На этом странном вокзале лежали и сидели люди в белых госпитальных рубахах, с перевязанными руками, с поднятыми вверх ногами, с головами, закатанными в бинты.

Я лишь мельком глянул туда, на этот вокзал, содрогнулся от страха, но тут же бросился к отцовской койке. Одна рука у папы была в гипсе, как крыло подбитой птицы, а вторая — обычная. И вот он схватил меня ею, поднял на кровать и повалил меня спиной на себя.

И засмеялся!

— Папка! — шептал я и только краем глаза видел маму — в белом халате, которая присела на папину кровать.

Губы у неё тряслись, но я плохо это видел, потому что в моих глазах всё смутилось: может, это слёзы радости слились со слезами недоумения?

Мы все троём обнялись.

И тут возле нас остановился дядька в исподнем: белые кальсоны, белая рубаха и два костыля под мышками.

— Эх! — сказал человек, лица которого я не запомнил, потому что это было совершенно неважно.

— Эх! — повторил он и прибавил каким-то плачущим голосом:

— Как же вам повезло!

7

Мама ушла в свою лабораторию, а я сидел в отцовском гнезде, прижавшись к его небритой щеке. Мне уже была известна во всех подробностях история его, как он выражался, среднего ранения и особенная удача, когда отправляли в тыл. Он быстро понял, что поезд идёт через наш город, добился, чтобы к нему подошёл начальник санитарного поезда, врач, пожилой, седой, бывалый, и попросил выгрузить в родном городе, который был по пути, чтобы оказаться в мамином госпитале. Тот начальник имел такое право — выгружать раненых по дороге, если там были военные госпитали, и он легко согласился на высадку. И утром папа маму просто ошарашил! Она пошла брать кровь, и видит — в списке фамилию отца. Прибегает, а он тут как тут, хоть и раненый, и в гипсе.

Пока я сидел с отцом, мама несколько раз подходила к нам — вся такая строгая, напряжённая, присаживалась на кровать и, как фонарик, зажигалась улыбкой.

Но с отцом не целовалась, не обнималась, только вот меня они будто на разрыв тянули друг к другу и ласково обнимали. Я был невелик и тискать меня просто полагалось, это уж потом, вырастая, я понял, что мама с отцом друг друга мысленно целовали и обнимали, когда делали это со мной. Так ведь тоже, оказывается, можно выражать взрослые чувства.

И всё-таки, какими они были, мои родители, в тот день, в те минуты, когда всем нам выпало нежданное счастье сидеть (отцу — лежать) на одной госпитальной койке, бесконечно улыбаясь и друг дружке, и всему миру, который почему-то именно нам устроил невозможную встречу.

Я был не слишком ещё смыслён, но в сказки уже не очень верил, откуда-то зная, что они, наверное, для души, для выдумки, а не для жизни. А в жизни всё по-другому — беспощадно и горько.

Но вот же! И это случилось со мной! Уверенно и правдиво явилась в нашу общую жизнь настоящая сказка, которая совершенно не выглядит выдумкой, а только радостной правдой!

Я осторожно трогал отца, прикасался к гипсу на его руке, я гладил мамин халат — только себя не оцупывал, чтобы поверить в происходящее, потому что я-то был посреди всего этого праздника.

Моя ласковая мамочка рассказывала почему-то обо мне строгими словами, объясняла, как рано утром, перед работой, которая у неё начинается в восемь, мы с ней топаем в детский сад, и это только кажется простым делом, хотя бы из-за морозов, которые так неожиданно, будто тяжёлая артиллерия, ударили не только по нашему городу.

В сад, как и в школу, разрешалось не ходить, но детей девать некуда — матерям надо на работу — и вот детсады всё-таки дверь перед ребятами не закрывали. Ходили по морозу и мы. В этом месте мама меня всё тем же строгим голосом хвалила, я смеялся в ответ, не понимая, за что же это такое она меня хвалит. А папа трепал меня по голове здоровой рукой.

Я просил его рассказать про войну, но он, смеясь, отвечал, что рассказывать ему пока нечего — его ведь “чиркнул” первый же снаряд, с которым он встретился, а вот что будет, когда встретится со вторым, пока не знает. И опять смеялся. Но это не казалось забавным, мы притихали, я смотрел на взрослых, и я вдруг думал, что это они смеются для виду, чтобы показать, какая всем нам удача выпала. А на самом деле им не до смеха.

Потом мама стала беспокоиться, как отправить меня домой.
— Сам дойду, — сказал я. Ведь шесть лет мне уже стукнуло.

Мама вздохнула и сообщила:

— Больше мне отпрашиваться неудобно. Но что-нибудь придумаю.

С отцом мы крепко-накрепко обнялись, я вскочил с его госпитальной койки, и мы с мамой отправились в её лабораторию.

Ох, эта лаборатория! Настоящее царство чистоты — белые стены, блистающий кафельный пол, микроскопы на столах и ещё какие-то приборы. Но больше всего мне нравились круглые табуретки с винтами под сиденьем, на которых было удобно поворачиваться лаборанткам — ведь они всё время двигались — туда-сюда, вставали, ходили, переносили мензурки и колбочки с жидкостями, пробирки с человеческой кровью. Ну так вот, на этой табуретке я и крутился, когда мама вставала с неё и переходила в другой угол лаборатории.

В госпитале я был не новичок и не посторонний, хотя других детей никогда тут не встречал.

Мама однажды проговорила мельком, что у неё есть покровительница, заведующая её лабораторией Елена Ивановна, эвакуированная из Ленинграда, очень крупная специалистка, учёная, доктор наук, а начмед Викторов тоже ленинградец, и они были знакомы там ещё до войны. Вот он и разрешает всё, что попросит Елена Ивановна.

Ну, а тот раз был, конечно, совершенно особенный: моего папу в звании старшего сержанта, никакого не командира и не офицера, взяли и высадили в родном городке, мимо которого собирались везти дальше, на Урал, и он встретился с семьёй, надо же! Так что Елена Ивановна не только добилась, чтобы мама срочно привела меня в госпиталь, но и отпустила её, без всякого спроса, довести меня теперь обратно. Но не к бабушке, а домой.

И вот мы вышли с мамой из служебного входа, я схватил её за руку, и, припрыгивая, поскакал рядом.

Мне хотелось кричать от радости, громко разговаривать, смеяться без всякой причины, а мама плакала, вытирала глаза оборотом варежки из козьей шерсти, и спрашивала кого-то:

— Я не понимаю! За что? Почему это случилось с нами? А Боря?..

Про Бору они говорили прямо при мне, вздыхали, повторяли, что, может, ещё образуется, и он отыщется, но быстро возвращались мыслями ко мне, друг к другу, к тому месту и времени, где мы находились. И радовались опять! Как радовались!

А тут на улице, мама снова заплакала.

— Мне страшно! — вдруг проговорила мама, обращаясь к кому-то, но совершенно явно, что не ко мне.

— Да ты что! — крикнул я. — Папа! Папа приехал! И всё снова! Снова... Я формулировал свою мысль с трудом, и мне было хорошо сегодня, сей-час, только что в госпитале.

— Снова! Как до войны! — договорил я потише, и на меня уставился какой-то пожилой прохожий в шляпе — совершенно не приспособленной к морозу. Ясное дело — эвакуированный.

На углу, от которого до нашего дома оставалось два больших квартала, мама сказала:

— Ты беги, а я постою! Когда ты подойдёшь к калитке, махни рукой. Мне надо возвращаться на работу.

— Папе привет! — крикнул я.

И побежал домой. У калитки, прежде чем махнуть рукой, оглянулся на маму. Маленькая, тоненькая фигурка на далёком пустынном перекрёстке. Она подняла руку, и я знал, что это знак мне и всё, в общем-то, в порядке.

Но, странное дело, неожиданные мурашки покатались по моей спине. Непонятная тревога сжала горло и не отпускала никак.

Малым своим, совсем не опытным умом я подумал, что это неожиданное беспокойство, сменившее нечаянную радость, может быть мне предупреждением.

Мол, погоди, мальчик. Не радуйся так безмерно! Остановись. А ещё лучше призадумайся!

8

Раньше мамочка моя приходила с работы в пятом часу, а зимой это было уже темно, и я всегда начинал волноваться с наступлением сумерек. Электрические фонари, пусть даже и редкие, теперь не горели. А люди ходили не по тротуарам, а по дороге: от снега ведь исходит свечение, и можно разглядеть идущего навстречу человека или повозку. Да ещё мерцающие звёзды помогали людям с неба. Мороз их как будто подновил, почистил и даже припустил к нам с неба, поближе к народу, чтобы видней виделась дорога и все на ней препятствия.

Теперь мама возвращалась каждый день поздно, после госпитального отбоя, иногда я дожидался её в постели, куда меня запечатывала бабушка. Всякий раз приносила новости: вот отцу сделали повторный рентген, а вот и сняли гипс, теперь надо разрабатывать руку — и я подробно расспрашивал, как это выглядит — “разрабатывать”.

Мамочка улыбалась почти непрестанно, но вид имела не просто усталый, а измождённый. В госпитале она никогда не обедала, бежала домой, а когда там оказался отец, этот обед переносился на поздний час, и бабушка маму ругала за то, что она голодает, наносит урон своему здоровью, хоть и сама — медик.

Но мама легкомысленно улыбалась, быстро ела, спрашивала меня про детский сад, не дожидаясь ответа, залезала под одеяла и сразу засыпала.

Бабушка уходила на цыпочках, ей ещё предстояло ночное путешествие в темноте, я накидывал крючок на дверь, босиком возвращался в кровать и следовал за мамой в царствие сна.

Однажды мама сообщила, что через два-три дня отца выпишут из госпиталя, но ещё с неделю он проживёт на домашнем режиме, и потом снова — на фронт.

Ещё она сказала, что мы втроём — папа, она и я — пойдём в фотоателье и сфотографируемся на память.

Меня это объявление удивило, хотя кто же отказывался сфотографироваться в те времена, да ещё в каком-то ателье.

День возвращения отца из госпиталя не получился праздником, хотя мы все принарядились. Накануне мама сразу после работы убежала к какой-то знакомой, и та сделала ей завивку. Папин довоенный костюм уютжила бабушка уютгом на углях, добравшимся до наших времен из какой-то далёкой старины: она раскачивала его, и угли внутри краснели, радовались и жгли. Она же выгладила мой, ясное дело, довоенный костюмчик — матроску. Где-то

в шкафу валялась бескозырка к матроске с надписью “Урицкий”. Но я не знал, кто такой “Урицкий”, и бабушка не взялась объяснить, что означает это слово. Ответила:

— Просто корабль.

Но какая бескозырка, если за окном трещит мороз, дай Бог добежать, не обморозившись, до фотоателье. А этим заграничным словом обозначалась дощатая пристройка с высокими гладкими стенами в светлых обоях ровного цвета, со стеклянной крышей, откуда лился солнечный свет. Фотографом оказался человек моложе отца, но с деревянной ногой, как в сказках, в телогрейке и шапке-ушанке, потому что в ателье была ледяная холодина.

— Сначала, — обратился он к нам, — вы сядьте прямо рядышком, как есть, в ваших пальто. А я прицелюсь, чтобы получился будущий снимок.

Мы сели, и мне показалось забавным, что мама с отцом ходят на послушных детей, вроде меня, — все трое мы молчали, краснели, терялись.

Фотограф — липовая нога — накиннул на себя большой чёрный платок, крутил какие-то колёсики на жёлтой большой установке, потом резко чем-то хлопнул, скинул платок. Воскликнул:

— Теперь раздевайтесь побыстрее! Чтоб не замёрзнуть!

Когда мы уеслись готовые, приказал:

— Смотрите прямо! Чутьочку улыбнуться! Не шевелиться!

Настала тишина, что-то щёлкнуло — потом всё это повторилось, и мы оказались свободны.

Мама принялась запоздало шутить, а отец натягивал на неё пальто, приговаривал:

— Не горячись! Не простудись!

А сам дрожал от холода.

Домой мы не шли, а почти бежали. Нас ждал стол, который мама с бабушкой сделали каким-то чудом, прикупив что-то на рынке, заняв у соседей, отоварив карточки, чем только можно, и даже раздобыв бутылку без наклейки. И как будто все готовились к празднику. Но его не получилось.

Пришла бабушка Елена, папа обнял её, и они долго стояли так. Старушка не то чтобы подвывала, а скулила, как, например, большая, усталая, больная собака. И папа гладил её, гладил, не переставая.

Потом с неё сняли шубейку, посадили за стол, и отец налил вина из бутылки без наклейки.

— Давайте, — сказал он, — выпьем за Бориса!

И добавил:

— Без вести пропавший ещё не значит навеки исчезнувший.

Все взрослые пригубили, стали постукивать вилками.

— Самое несправедливое, — проговорила бабушка Елена, — когда родители переживают детей.

— Война, мама, не разбирает, — сказал отец.

Опять помолчали. И слова про то, чтобы угощались, попробовали того или сего, будто блёклые мотыльки трепыхали крылышками и падали в тишину.

— Куда ты теперь? — спросила бабушка Елена отца.

— Не куда — я, а куда — меня! — задумчиво ответил папа. Но закончил бодро. — Не знаю, ведь я просто солдат. Куда пошлют.

Снова помолчали.

— Но у тебя, мама, — очень медленно, будто отыскивая всякое слово, проговорил отец, — есть две мои старшие сестры — Августа и Людмила. Конечно, они живут в других городах, но далеко от фронтов, и тебя не оставят. Даже если враги займут наш город.

Все встрепенулись от таких отцовских слов. Ведь никто и никогда не думал, что немцы доберутся за тыщу вёрст от Москвы.

Но папа не закончил свою мысль. Обращаясь к своей маме и моей бабушке Елене, он почему-то попросил её:

— Не забудь моего сына, если станет совсем худо. Понимаешь?

Бабушка Елена тревожно вскинула на отца глаза и спросила:

— Ты что-то знаешь? Мы проиграем?

Отец махнул рукой:

— Зачем же тогда я. Миллионы, наверное, таких. Мы не проиграем. Но я говорю о другом. Вся война ещё впереди. Она только началась.

Все уже положили свои винки и сидели, опустив голову. Не лезла в горло, может, последняя предвоенная еда.

Так и разошлись ни с чем — отец поцеловал свою маму, она поцеловала меня и мою маму. Папа ушёл её проводить.

Через день или два мама принесла фотографии из ателье.

Они лежали на столе, и на обороте одной из них синели обыкновенные чернила. Я уже умел читать, может, не так бегло, как книги, но надпись я одолел.

Там маминой рукой было написано:

“Фотографировались 3/ХП 41 г. после госпиталя перед отъездом в часть. Не забывай своих жену и сына”.

Эту фотографию папа увёз с собой.

Мой папочка.

9

Они ушли на вокзал в сумерки, конечно, я просился с ними, но отец поставил меня на стул, вровень со своим лицом, и сказал:

— Давай попрощаемся здесь. Расти. Будь здоров. Береги маму.

Мама была рядом с нами, её лицо мелко подрагивало — то ли она хотела заплакать, то ли засмеяться.

Когда она вернулась, я не услышал, только утром, запивая чаем кусок пеклеванного хлеба, сказал задумчиво:

— Мамочка, а мы папу-то проводили на войну второй раз.

Она сидела рядом, тоже чего-то жевала, а от моих слов сначала окаменела. Потом закрыла лицо руками.

Какое-то мгновение она сидела неподвижно, потом выдохнула, отняла руки, глянула на меня и спросила:

— И зачем дети так быстро растут? Оставались бы несмышлёными!

Ещё помолчала и прибавила:

— Шушлёпиками!

— Несмышлёными шушлёпиками? — еле выговорил я.

— Ну да! — засмеялась она натужно.

— А кто это? — спросил я. — Несмышлёные шушлёпики.

Мы шли по морозу в детский сад, я крепко держался за мамину руку, воображая себя шушлёпиком, представляя себе, каков этот шушлёпик бывает и какая жизнь шушлёпиков в детском саду военного времени.

И ничего-то у меня не получалось.

Наверное, всё-таки шушлёпики — это добрые, но ничего не понимающие в жизни маленькие люди, то есть дети, но разве есть сейчас такие? Ну разве те, кого только пеленают и только кормят соской, но ведь такие вообще ещё ни о чём не думают, а как только человек задумался и задал первый вопрос, он уже не шушлёпик, а мыслящее существо. Небольшого роста. Зависимый от всего подряд. Но ведь думающий, значит, не шушлёпик.

Я с довольно большой задержкой сообразил, что про шушлёпика мамочка просто со мной пошутила, чтобы уйти от моих серьёзных соображений и не плакать у меня на глазах в который раз. Прощаясь в саду, сняв с меня шубейку, она только добавила, что папу взял с собой литерный поезд — ещё одно взрослое слово военных лет. Пояснила: такой поезд идёт почти без остановок, на больших станциях усталые паровозы отцепляют, а прицепляют сменные, уже заполненные углем и водой, полные сил, и они мчат к Москве танки, пушки, солдат. И летит такой поезд без всяких расписаний, и все составы, что попадают ему навстречу, даже с ранеными, задерживают на запасных путях. Потому что новые силы должны сразу вступить в бой.

Конечно, это было сообщение не для мальчика на седьмом году жизни, если бы жизнь стояла мирная. Но для того дня, для тех дней и часов декабря первого года войны — мамыны слова я услышал, как разговор женщины с почти взрослым сыном.

Она не наклонялась, например, ко мне, не разъясняла что-то пока мне недоступное, а говорила так, как говорила бы, наверное, Елене Ивановне в своей лаборатории или даже начальнику госпиталя Викторову, который чем дальше, тем больше казался мне не человеком, а глыбой, на плечах у которого целый госпиталь с ранеными, которых надо спасти.

Да, второй отъезд отца на войну, а перед этим госпиталь, койка в красивом зале старинного дома, где он лежал, уже загипсованный, но ещё, как оказывается, и не воевавший по-настоящему, чему-то уже крепко научил меня.

Чему? Толком и не обозначишь, но нечаянная радость почему-то выбрала именно меня. А за это надо если и не рассчитывать, то отвечать. Самому себе, хотя бы.

Отец ушёл на войну во второй раз, значит, что-то хотело, чтобы я по-настоящему, даже по-взрослому, понял, что такое снова расстаться с ним.

Выходит, я не постиг этого как следует в первый раз? Раз мне — но ведь, прежде всего ему и маме — дают попробовать проститься снова.

И чем это кончится?

А ведь совсем рядом какая-то сила или случай, или горе настоящее, не сказавшись горем, спрятали от нас дядю Борю: не погиб, но пропал без вести! А папа не пропал, его ранило, он вернулся к нам — ещё раз попроситься, может быть? И уехать на литерном поезде, перед которым расступаются все иные поезда и паровозы?

Ну, нет, такое просто так не происходит. И что-то это значит.

Я, конечно, поднялся в группу, покатался на коне с колёсиками и красноречивыми нарисованными попонами, на котором скакал маршал Ворошилов, рассказал другу Димке о ночном отъезде отца, потом ел, слушал сказку про Конька-Горбунка, которую читала воспитательница Варвара Клавдиевна...

И всё время чувствовал какую-то непонятную и совершенно взрослую печаль.

Никто не знает, как исчезают в нас легкомысленные, прекрасно глупенькие и бестолковые шушлёпки. Наверное, они исчезают из всех по-разному. И не в один день, даже не в один год.

Но в тот день, перед которым ночью второй раз уехал на войну отец, я, ничем не переменявшись внешне, простился с шушлёпиком внутри себя.

Как жалко мне теперь того шушлёпка-то!

А тогда жалко не было.

10

Опять мы очутились в одиночестве.

Конечно, днём оно пряталось в какую-то странную тень. Я был в детсаду, мама на работе, понятно, что ни я, ни, особенно, она, не оставались один на один с самими собой, но вечером обязанности отступали, мы ели, что Бог послал, и почти всегда в этот же самое время слушали, что сообщало по радио Информбюро.

Сначала я пугался человека, который произносил тяжёлые слова. Он как-то отрывал немножечко их друг от друга и как будто нажимал на них. Мама сначала медленнее жевала, потом откладывала ложку, лицо её леденело, глаза опускались, а спина сгибалась. Я смотрел на нее и изо всех сил вслушивался в строгие слова, где было много непонятных названий, неизвестных мне городов и селений, и не умел ещё соединять их с землёй, где они располагались, плохо представлял, что такое Москва. Но я хорошо видел, что мама сгибается, что слова, прилетавшие через радио, её сжимают, сдавливают, склоняют, и очень желал, чтобы этот командир со строгим голосом поскорее перестал говорить из чёрной тарелки, и слышалась хоть какая-нибудь музыка.

Почему-то человек со строгим голосом из радио представлялся мне тогда непременно командиром.

Музыка, в конце концов, включалась, мама медленно оживала, доедала свой остывший ужин, мы начинали разговаривать о всяких разностях, потом умолкали. Вот так и вползало одиночество.

Какое-то время мама читала мне книжку, например, “Мойдодыра” Корнея Чуковского, но это не помогало, потому что “Мойдодыра”-то я уже повторял вслух вместе с ней — она раз в двадцатый или тридцатый зачитывала мне эту совсем уж малышовую забаву. И тогда я притихал, может, это меня тащил за собой в сладкие дали подступающий сон. И совершенно точно, что ему помогало одиночество. Причём, не лично моё, а наше с мамой.

Она читала медленно старую книжку, и её тоже тащил к себе сон вместе с одиночеством. Тихо становилось в нашей комнатёнке, какое-то, может, даже успокоение от прожитого дня наваливалось на лоб, на щёки, на грудь, на ноги, и тебя освобождало от тебя же. Уходили тревоги, и радости, и ты плыл в темноте или даже при свете лампочки. Книжка из маминых рук выпадала, она откидывала голову и проваливалась в свой — а может, тоже наш общий — сон.

Я спал, чувствуя свет непогашенной лампочки. Потом она выключалась — это спохватывалась мама. Она поворачивалась на бок, встрескивали пружины в матрасе горьким звоном, и мы отплывали в мир, где нам являлись самые разные сны — и чёрные, и цветные, и горькие, и сладкие — а одиночество всё-таки было у нас с мамой общее, хотя сны разные.

Ведь я мог в любой миг вполыхнуться, открыть глаза от страшного провала в никуда, крикнуть: “Мама!” — и она тут же оказывалась возле меня на корточках, гладила меня по голове, спрашивала, что со мной, и приговаривала разные словечки, чтобы я утешился:

— Спи, сынок! Не бойся ничего!

Я трогал её руку или её голову, её волосы, переворачивался на другой бок и отчаливал дальше. В наше общее одиночество.

Только был я не один.

Точнее: никогда не был один.

И ещё — мы ждали писем от отца. После того, как мама проводила его на войну второй раз, открытки и треугольнички стали приходить на удивление часто. Некоторые из них, особенно вначале, и это были открытки, он написал чернилами. Потом тетрадные странички, вырванные откуда-то, были заполнены дрожащими карандашными строчками. Папа не писал ничего особенного. Особенно про себя. Только желал.

Мне желал слушаться старших и беречь маму.

Маме желал здоровья и беречь меня.

Пришла жёлтая открытка и к Новому году, правда, она опоздала, и мама очень нервничала, хотя взглядывала на меня, улыбалась и тревогу свою прятала.

— Конечно! — говорила, обращаясь не столько ко мне, сколько к самой себе. — Там так тяжело! Столько раненых привозят! И почта полевая идёт с трудом!

II

Один раз в месяц мама учиняла капитальную стирку. Кипятила на печи пару ведёр воды, выливала их прямо-таки в доисторическое деревянное корыто. Иногда она даже варила в ведрах особенно грязное бельё, но я видел такое только один раз. Обычно она замачивала наши тряпки, кусок хозяйственного мыла и принималась драть мои рубашки и трусы, носки и, если надо, штаны, как и свою одежду, потом отжимала их от лишней воды и кидала в большую корзину. Порой она применяла ребристую железную доску, о которую тёрла тряпье.

Я уже знал, что после этого, прибрав себя, расхристанную во время стирки, мамочка угостит меня и себя чайком, и мы отправимся бельё наше полоскать.

В соседнем овраге, поперёк его, было деревянное сооружение с двумя крохотными оконцами. Внутри этого барака стояли два слегка наклонённых лотка, деревянных же, из небывало толстенных досок — длинных, промокших насквозь и чёрных. Может, из таких делали когда-то старинные корабли,

а тут по колодам этим, — так их называли женщины — денно и ночью текла быстрой струёй ключевая вода от источников на краю оврага.

Мы с мамой корзину с неполосканным бельём грузили на мои санки, я легко, без всяких трудов, катил её по хрусткому морозному снегу, подходили к краю оврага и спускались вниз, по крутой и высокой лестнице в несколько пролётов. Корзина была тяжеленная, мама тащила её обеими руками, и на каждой площадке мы передыхали. Потом спускались ниже.

Не помню, чтоб хоть копейку брали в этой прачечной-полоסקальне. Не помню, чтоб и была над ней хоть какая начальница или начальник. Но кто-то же на ночь её закрывал?

Мы распахивали дверь, и сразу тебя окатывал шум стремительно льющей воды — не как при горных водопадах в теплых краях, — но всё же это был звук льющейся энергии, стремительной струи, мчащейся силы. Если был свободный подход к колоде, я сразу подбегал к ней, перегибался через край, норовя опрокинуться, и протягивал ладошку воде. Меня тотчас обжигал её ледяной холод, я выхватывал руку, не различая, чем отличается мороз от ожога, и дул на кулак, до основания сотрясанный этим ударом ледяного холода.

Мама, конечно, выкрикивала моё имя, одновременно укоряя и предупреждая об опасности, а сама!

А сама выгружала кучу белья на доску, пересекающую колоду, и начала его полоскать.

Как же это было больно и холодно! Нестерпимо! Но мамочка моя терпела, улыбалась себе, продираемая до основания ледяной водой, и старалась управиться с полосканием как можно сноровистей и быстрее. Полоскать приходилось по два раза, чтобы чище, да ещё выжимать, скручивая бельё обеими руками почти досуха, чтобы из корзины не лилось, да и легче было прополосканное бельишко.

Две колоды, с двух сторон окружённые женщинами разного роста, разного возраста и телосложения, были похожи почти одинаковой чёрной одеждой, к концу войны — телогрейками, всех выравнивающими в единый строй, — платки только на головах имели небольшое отличие, да и те-то, за малым и редким исключением, — чёрные.

Бельё полоскали молча, наверное, остервенело от боли. По крайней мере, когда бывал там я, женщины молчали, может, терялись, что тут говорить при ребёнке? Правда, одна тётка, моложе мамы, заматюгалась однажды вдруг ни с того, ни с сего, может, просто потеряв терпение от пронизывающего холода, так все остальные почти хором заткнули её:

— Эй ты, умолкни!

— Распялилась при ребёнке!

И та умолкала.

Пока мама полоскала, я устраивался у оконца со всё тем же затасканным “Мойдодыром” и незаметно для себя учился буквам и словам, складывал их в строчки и шёпотом повторял узнаваемые и давно запомнившиеся выражения.

Так что говорить, в чёрной полоскальне было трудно, поэтому женщины помалкивали — не речи ведь говорить сюда притащились с тяжкими корзинами. Но однажды одна тётка при нас запела. Да таким крепким, почти мужицким голосом:

*— Широка страна моя родная!
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!*

Почти разом женщины бросили своё бельё — кто выпрямился, а кто так и оставшись согнутой — и воззрились на певицу.

Она была статной, высокой, черноволосой, с пучком волос, завязанным на затылке. Какая-то не наша. Она сверкала глазами и зубами, оглянула тех, кто согнулся, и вдруг приказала:

— А ну, разогнись!

Велела:

— Запевай!

Но никто и не подумал выполнять команду. На минуту прервавшись, женщины снова взялись за своё. Тогда молодайка быстро скинула в корзину свои пожитки, даже не выжав как следует, и не вышла — вывалилась из полоскальни. На пороге крикнула:

— Не гнитесь, бабы!

Дверь, как и все в этом мокром бараке, была пропитана сыростью, была осклизлой, поэтому не хлопнула громко, а только чвакнула, едва притворясь.

Чей-то голос спросил:

— Сумасшедшая?

Другой ответил:

— Зэчка. Отпросилась в штрафбат, отпустили к матери повидаться. Вот всё перестирала...

Этих слов я не понял, в них не разобрался, если бы мама, пока мы поднимались по крутой лестнице с корзиной, ставшей ещё тяжелее, не сказала:

— Её не в штрафбат отправляют, а в школу снайперов. Я по работе знаю. Брала у неё кровь на анализ.

Когда пришли домой, мама согрела горячей воды, налила её в тазик и опустила руки.

— Больно? — спросил я её.

— Нет-нет, — ответила она, улыбаясь. — Разве это больно?

12

К счастью, мало кто знает, что как только приходит беда, например, война или землетрясение, откуда-то к людям являются вши. Не всякий человек-то теперь знает, что это за слово и кого оно обозначает, и, может, слава Богу. А вши — это такие очень мелкие и страшно кусачие насекомые, крохотные, злые и живучие. Они прячутся в человеческих волосах и в одежде и рожают потомство, называемое гнидами, из которых эти вши снова вырастают. Человек — существо терпеливое, он бы и гнид всяких перетерпел, если бы они, вырастая или кусая людей, не переносили бы самые страшные болезни. Например, тиф — тоже признак почти всякой большой беды.

Картинка, чтобы знать, как выглядят вши и гниды, висели в нашем детском саду на разных стенках, чтобы мы узнавали противника, а слова эти — “вши” и “гниды” во все времена и эпохи имели ругательный смысл. Да ими ещё людей обзывают!

Зимой сорок второго года в нашем детском саду взрослые яростно воевали с вшами. Это означало, что каждого малыша заводили в медицинскую комнату, и там тётенька в белом халате придирчиво рассматривала твои волосы, копалась в них, заглядывала за воротник, а некоторым велела расстегиваться, и рассматривала рубашки и платица изнутри.

Всем, кто приводил нас в садик и уводил обратно — мамам, бабушкам, тётушкам и всем другим, исключительно женщинам, медсестра два раза в сутки — утром, на входе, и вечером, при прощании, повторяла, как заведённая: “вши” и “гниды”, “гниды” и “вши”.

А потому моя мамочка, и так-то имеющая самое серьёзное отношение к медицине, уж раз-то в неделю, чаще по воскресеньям, расстилала на столе какой-то чертёж, неизвестно как сюда попавший, переворачивала его обратной стороной, чистой стороной, наклоняла мою голову над белой бумагой и начинала меня скрести частой-частой стороной довоенного женского гребешка, который самую мелкую крошку выгребет.

Время шло, ничего мама в голове моей не находила, но однажды всё-таки просто завопила:

— Вот она!

Как-то ловко она прижала почти невидимую, почти прозрачную тварь, ногтём прижала её и громко щёлкнула. Я поразился: почти невидимая и совсем прозрачная, а так громко лопается.

Мама чертёж свернула, объявила, что уничтожена гнида, и мою одежду надо прожарить, потому что сам я гниду вырастить не мог, значит, принёс её из детского сада — она перебралась с одной одежды, конечно, чужой, на другую, естественно, мою.

Мама и свои волосы постоянно расчёсывала мелким гребешком, ничего не находила, а однажды явилась какой-то совсем молодой, сняла свой пушистый беретик с хвостиком на вершинке, и тряхнула волосами — совсем короткими! Оказалось, она подстриглась. И не где-нибудь в городской парикмахерской, а прямо в госпитале, потому что среди раненых и выздоравливающих оказался разговорчивый парикмахер из Белоруссии, мастер на все руки с шикарным именем Кондрат — так вот этот Кондрат подстригал всех врачей и медсестёр за конфетку. Ну, мама и заняла у кого-то конфетку, а домой явилась девочка-девочкой, встряхнула серыми своими волосиками и воскликнула:

— Надоело гнид этих бояться!

Жизнь показала, что мама сделала верный выбор. В детском саду объявили, чтобы всех мальчиков подстригли наглотку, ну, можно оставить тонкую, почти прозрачную чёлочку, а девочкам — всем поголовно! — отрезать косички, если они имеются.

Что тут началось! Но это были писки маленьких комариков. Им строго объяснили, что в парикмахерских длинные очереди и школьников стригут всех, как один. Под Котовского. Ходила такая шутка. Ну, да и фильм, где героем был стриженный под ноль красный командир Котовский из гражданской войны, ещё был известен совершенно всем.

Однако стрижка ведь ещё полдела. Главное, каждую неделю в баню ходить. И всё почему-то выбирали субботу.

Как узнал я попозже из разной литературы, русские вообще моются по субботам. В деревнях топят свои собственные бани, а в городах же и бани городские — для всех сразу. Поэтому к вечеру, а это значит, после работы, в бане не протолкнуться. Стоят очереди, заняв собой всё пространство, и даже выползают на улицу, за дверь.

В общих мойках — цементные лавки, на четыре, на шесть, на восемь душ, в середине зала по восемь кранов, направленных в разные стороны, из них — поверни ручку — хлещет холодная вода и кипяток.

Народу, как на вокзале, только все голые, мылятся и поливаются, охают и перекликаются, кто-то идёт в примыкающую дверь — там парилка и клубы горячего пара вырываются, когда кто-то входит или выходит — белого, густого, будто это и не горячий воздух, а морозное дыхание!

Ну так вот — каждую субботу мамочка моя тащила меня в баню.

Охо-хо! В женское отделение! Вот ведь что война наделала!

Конечно, маленьких мальчишек, своих сыновей, женщины и до войны в женское отделение забирали — куда ещё? Отцу, может, несподручно, а мать сама — раз-раз! — и всё прочистит, промоет, ей это удобно и понятно. Но как началась война, матери стали брать с собой и пацанов постарше, но только дошкольников. Попал и я под этот распорядок.

Мне уже случалось замечать, что в войну дети взрослеют скорее. Сам ростом мал по-прежнему, но что-то такое происходит в голове совсем не детское. Глядишь на сотню голых тёток, и твоё отличие вдруг превращается в неловкость, неудобольствие, даже в отвращение.

При чём тут — думаешь, неожиданно ты, — все эти тётки, девки, старухи? Зачем они тебе-то нужны? Глаза косят в сторону, голова опускается, ты смотришь в ноги, в свою шайку, а мамочка, как будто ничего не понимая, подгоняет, ополаскивает, трёт спину и места пониже, никого не стыдясь и никого не замечая.

Однако она всё-таки что-то чувствовала, ощущала мою смуту, но твердила всё одно, видно, им только и убеждая:

— Я надеюсь? Ты не хочешь завшиветь? Чтоб кормились тобой какие-то гниды!

После такой санитарной пропаганды голова моя, хоть и почти начисто остриженная, опускалась ещё ниже — чтоб никого и ничто не видеть.

Но всё это рано или поздно кончается! Всякая санитарная агитация!

Я поднимаю голову в одну такую санобработку и вижу перед собой Гальку Каратаеву из нашей группы, голую от макушки до пяток. Она узнаёт меня, издаёт визг, будто режут курицу, а я, осознав происшедшее, вырываюсь из мамочкиных рук и бегу в раздевалку, чтобы мгновенно спустя увидеть непонимающее, а то и глубоко возмущённое мамочкино лицо и услышать её не самый пронизательный вопрос:

— Что случилось?

Да ничего, мамочка! Или ты не понимаешь? Ровно ничего?

Но в женскую баню я с тех пор не ходил. И на Гальку Каратаеву в детском саду не смотрел.

Когда она случайно оказывалась передо мной, я отводил глаза.

А в баню научился ходить один. Странно: в детсад по утрам мама меня водила за руку. А в баню, по вечерам, отпускала одного.

И я справлялся.

13

В ту же пору, — как только мама и бабушка сходились вместе, да ещё и я был под рукой, — со всех сторон обсуждался самый главный вопрос моего будущего. В наступившем году мне исполнялось семь лет, и надо было записываться в школу.

Но беда в том, что моё семилетие наступало чуть позже начала занятий. Тех, кто не добрал своих полных семи лет, в школу вообще-то брали, но — вот изобретение! — не в первый, а в так называемый подготовительный класс. Чтобы подучить азбуке, начальным действиям арифметики, но, главное, на большой перемене — накормить школьным обедом. Школа просто выкармливала не доросших до первого класса.

Мамочка с бабушкой испытующе поглядывали на меня.

Еда, конечно, едой, но меня и в садике кормили, а что касается алфавита, я его знал давно, бегло читал и умел считать до ста. Сдай меня мамочка в подготовительный класс, я бы стал называться приготовишкой! В одном только слове сколько унижения! Будто к первому-то классу надо готовиться целый год!

И вот они по очереди, а то и враз внимательно вглядывались в меня, ждали моего ответа, а я всматривался в них! Ведь они старшие! Им решать! И я уже изложил свои соображения.

Про один только таинственный страх я не мог заикнуться. А он-то и укреплял моё сопротивление. Вдруг, если отдадут в приготовишки, мамочка скажет: ну вот, ты, сыночек, ещё не первоклассник, пойдём со мной в баньку!

Однако разум победил. Моя готовность к первому классу не вызвала подозрений, из сада меня не выгоняли, и я остался там ещё на год, отправившись в первый класс через целый год почти восьмилетним, старше едва ли не на год моих грядущих одноклассников.

Но это будет чуть погодя.

А пока мамочка всячески ограждала меня от всего и всякого. Утром вела в детсад и тогда бегом двигалась потом в свой госпиталь. А из сада меня забирала бабушка. Она жила в другом месте, поэтому вместо мамы торопилась за мной и отводила к себе, где и кормила. К вечеру вела домой. Даже в хорошую погоду ни та, ни другая не отпускали меня одного — с какими-нибудь мальчишками, например, поиграть. Да и мальчишки-то — однажды я вырвался на бабушкин общий двор — только и делали, что махались палками или руками, щедро осыпая свои битвы крепкими взрослыми выражениями.

Я такие слова слышал, но никогда ими не пользовался, и знал, по мамочкиным наставлениям, что это не просто дурно, а стыдно и наказуемо.

К вечеру, стараясь совместить это с маминим возвращением из госпиталя, бабушка вела меня домой. Если мы приходили раньше, бабушка что-то протирала, где-то прибирала, а я сидел дома и рисовал, или листал книжки потолще, где изредка встречались картинки, и прочитывал подписи под ними.

Как всякое растущее существо, я скучал, но зато слушал радио, и, кроме военных сводок, которые наполняли меня названиями городов, селений, армий, я обучался ещё казенным, государственным оборотам, которые самым таинственным образом размещались в моём сознании до времен созревания и взрослости и потом вдруг выплывали, как сила, как опора, как даже мудрость. Ну, например: “Войска Белорусского фронта нанесли массированный удар по противнику и отшвырнули его от города Можайска...”

Я и сейчас вздрагиваю, угасающей уже своей памятью вспоминая те слова и интонации, и не перестаю поражаться: как же они важно звучали и как сотрясали самые слабые души!

Мне, может быть, иногда бывало скучновато, но когда ты один на один с собой, это ведь не означает, что ты бездельничаешь. Напротив! Ты начинаешь думать!

Сперва потихоньку, маленькими мыслями и обрывками, потом уже целыми отрывками, где предыдущее срастается с последующим и что-то важное складывается при молчаливом слиянии этих отрезков. Возникает если и не окончательный вывод, то приготовление к нему. Может, именно в таких положениях человек, даже маленький и не очень готовый к жизни, начинает думать о ней складно для себя. И растёт!

Незаметно для себя растёт, размышляя.

Словом, думать — занятие полезное, хоть и непростое.

Думая о разных разностях и прилагая эти мысли к себе, я как минимум внушил маме и бабушке, что могу ходить в баню один, не обязательно в субботу, пусть бабушка и провожает меня, а потом встречает, хотя это совершенно не нужно, даже глупо, ведь на улице светло и безопасно.

Мама, горюя, согласилась. Вот я после садика, в сопровождении бабушки, и отправился в мужское отделение, выстояв короткую дневную очередь человек в десять — разве это очередь! — вышел оттуда победителем, не до конца, правда, протёртый полотенцем. И хотя бабушка-бедолага со скучным и несогласным видом ждала меня на лавочке, был доволен собой.

Больше к этой теме мы не возвращались.

14

Говорят, людям живётся легче летом. То травка вылезет, то яблоки появятся — пусть зелёные, не готовые, но даже из них можно сварить кисленький компот. А в нём много витамина “С”.

Но лето второго года войны для нашей семьи веселей не стало. Отец опять перестал писать, сводки по радио стучали молотком: мама от них плакала, а потом говорила, что раненых всё больше и больше. А я стал пока чувствовать какую-то лёгкость в голове, и оказалось, что это плохо.

Однажды, и это было утром перед садом, я заулыбался и пополз со стула. Очнулся оттого, что мама брызнула мне водой в лицо. И как-то стремительно исчезла, подвинув ко мне чай с сахаром.

Вообще-то мы пили чай с сахарином, это такие кристаллики, вроде сахарного песка, но в них какая-то крепкая сладость, а сахар давно стал редкостью — ведь его выдавали по карточкам. Но тут мама наболтала мне ложки три из заветного запаса, велела, чтобы я не ходил, исчезла, а явилась с пробирками, пипетками и острой такой штучкой, которой протыкают налец, чтобы кровь взята. Опять исчезла. И сделала что-то ещё такое, что будто из-под земли, по волшебству какому-то, появилась моя бабушка Мария — уж как она мамой вызвалась, не знаю.

Обе они смотрели на меня с тревогой, а я ничего не понимал, удивлялся и всё спрашивал, когда мы в сад отправимся.

Отправились, но с опозданием, и вела меня туда бабушка. Потому что мамочкино утро кончилось. Вечером она сообщила мне, что у меня малокровие. Мало, значит, крови, а по-лабораторному — мало красных кровяных телец, которые обозначают, что человек сыт и здоров.

В глазах у мамочки стояли слёзы, но они не скатывались, не проливались. Она вскакивала, ходила по нашей маленькой комнатушке, о чём-то

тяжело думала, как и ступала по полу — тяжёлой походкой. Потом она открыла наш узенький гардеробчик, подвигала платья свои на плечиках — их было три, совершенно подходящих к лету — белое, с васильками, ещё одно, слегка серенькое, её рабочая одежда, и темно-синее, надев которое мама ходила в гости. Но по гостям ходили до войны, теперь не звали. Мамочка решительно сдёрнула это торжественное платье и белое с васильками, и неаккуратно завернула их в газету.

— Куда их? — скорее по привычке, а не из интереса спросил я.

— Да отнесу в скупку, — легко ответила мамочка.

На другой день она намазала кусок белого хлеба топлёным маслом и, протянув его, велела съесть до конца. Белый хлеб тогда стал редким яством, а такого масла я не ел совсем давно, однако ни то, ни другое не было моей вожделенной мечтой.

Я ел вяло, запивая чаем, и не испытывал никаких радостных чувств. Зато мама ликовала. А мне читала целую лекцию про красные и белые кровяные тельца: когда красных в человеке не хватает, надо есть витамины, красные и белые в крови нашей вообще сражаются без конца, и когда белые побеждают, люди болеют. Даже сознание теряют.

— Значит, — догадывался я, — во мне красные отступили, а белые наступили?

— Вот-вот, — улыбнулась мамочка, но я её огорошил:

— Это как на фронте: наши отступают, ведь армия-то у нас красная!

— Наверное, — подумав, ответила она, — можно и так.

15

Бабушка съездила на заросшие поля по другую сторону реки и притащила две авоськи щавеля, а ещё и пестики, из которых, говорили, можно сделать муку, если высушить в печи и измельчить. Но муку мои хранительницы делать не стали, зато из щавеля варили суп, делали салаты и требовали, чтобы я наелся этой кислятины до отвала. Сначала я ел эти травы с удовольствием, но скоро мне они надоели. Мама приносила с рынка молоко с толстым слоем чего-то жирного, похожего на масло, и я радостно нападал на новые яства.

Мамочка не уставала мне повторять, что за лето и осень я должен набраться сил, чтобы пережить новую зиму, потому что для меня она последняя перед школой.

Осенью, когда снова стало рано темнеть, мамочка объявила мне, что у них в госпитале по вечерам теперь показывают кино, и она будет просить начмеда Викторова разрешить мне иногда приходить на киносеансы для раненых.

Хотя я уже видел всемогущего Викторова, и был он, в общем, нормальный и даже уж не такой строгий начальник, мамыны рассказы каким-то необыкновенным образом увеличивали его размеры. Иногда он казался ростом до потолка холла, в том зале над лестницей, где лежал отец, и все его заранее боялись. Поэтому любое его милостивое согласие казалось манной небесной — знаете, что это такое? Я — нет, но это точно не манная каша, хотя многие так выражаются. Чудо, может, какое?

И вотжданное, и довольно долго, чудо совершилось и мамочка сказала, мол, разрешение мне получено, а лично она познакомилась с киномеханицей по имени Полина.

В госпитальном холле, где лежал отец и стояли койки с другими ранеными, между ними появился обычный стол, на нём какая-то деревянная подставка, а уж на ней кинопроекторный аппарат, в общем, штука, которая показывает кино. А напротив, на стене, под которой спускалась вниз лестница с закрытым парадным входом, висел белый экран, сшитый из госпитальных простыней.

Возле аппарата энергично двигалась женщина с длинной косой, почему-то в гимнастёрке, правда, сильно выцветшей, неновой и как будто купленной на барахолке, и чем-то щёлкала, вставляла куда-то киноплёнку, подкручивала колёсики, на которые она была намотана.

Полина, как я догадался, раза три улыбнулась маме, кивнула ещё кому-то рядом с ней, так что я даже обернулся, но рядом никого не увидел. Выходило, это она кивнула мне, и я стал ждать, когда она снова обернётся к нам, чтобы кивнуть с улыбкой в ответ.

Кинокартина называлась “Весёлые ребята”, и если кто не понимает, про какой фильм я говорю, объясню в двух словах, что это очень весёлая комедия, где много музыки и всё вокруг смешно и радостно. Несмотря на мой дошкольный возраст, я видел его раз пять до войны, хорошо помнил героев — целую кучу музыкантов — и смеялся вместе со всеми, когда было смешно. Но это совершенно не означало, что я не захотел бы смотреть это кино ещё, ещё и ещё раз. Потому что смотреть фильмы — было развлечением, несмотря ни на какие повторения. Так и должно же быть! Хорошее в жизни должно обязательно повторяться по многу раз!

Раненые дружно смеялись, а когда в фильме наступала недолгая тишина, я слышал откуда-то издалека стоны и тревожные разговоры. Но играла музыка, смеялись артисты, и всё это глушило неудобные звуки. И даже, может, отодвигали от нас всю нашу жизнь.

После киносеанса Полина, пожав мне руку, пригласила нас к себе пить чай, и хотя мамочка всячески отнекивалась, нам пришлось довольно скорым шагом достигнуть дома Полины и подняться на второй этаж старинного деревянного сооружения. Сверху он был голубой, с добротной, но с деревянной же крышей и резными наличниками на окнах. Не то, чтоб домик-пряник, но довольно приветливое, добродушное строение.

Едва мы стали подниматься на второй этаж, как дверь распахнулась, и трое ребят выскочили навстречу. Они громогласно называли Полину мамой, прыгали ей на шею, хватали её за косу, а она смеялась в ответ им радостным смехом, называя по именам, рассказывая про нас с мамой, подталкивая навстречу им меня, как нового гостя и возможного друга.

В комнате, где жила Полина с детьми, у стены, противоположной окнам, стояло пианино у окна — небольшой столик с книгами и тетрадами, а все остальные стенки были как будто подперты железными кроватями. Три из них, правда, оказались небольшими, и только одна взрослая.

— Ну вот, — кричала Полина, — знакомьтесь: Люба, Юля, Борис! Кого ещё не хватает! Ивана? Так мы задумали, понимаете! Получится — Люби! По первым буквам-то! Только бы войне конец!

И она обнимала самую маленькую, Любу, лет трёх от роду, Юлю, старше на год. Разве что Борис был под стать мне.

— Вот так и оставляю их втроём! — говорила Полина маме. — Разве могу я смеяться этим комедиям! У меня кошки скребутся на душе-то. И присмотреть некому!

Мы уселись в кружок за квадратный низенький столик, прихлёбывали жидкий чай из разномастных чашек и кружек, и мама просила Полину зайти к нам, чтобы взять всякие мелочи, хоть пару кружек, хоть неновый чайник. Оказывалось, Полина — жена пограничника, он отходил с боями от белорусской границы, писал из госпиталя, но снова умолк. Им помогает военкомат, просто так, без всяких похоронок и других сообщений, она считается женой офицера, а маленькие — её дети.

Честно сказать, встреча эта была какой-то мимолётной и ни о чём не говорящей. С Борисом мы даже не начали дружить, просто посмотрели друг на друга и пожали руки, потому что всё время говорили наши мамочки.

Мама наутро унесла в госпиталь две неновых чашки, какую-то мою старую, довоенную ещё, одежду, из которой я вырос, но которую можно было бы подогнать для Бориса.

И время от времени я стал ходить в госпиталь смотреть бесплатное кино. Тётя Поля всегда передавала мне приветы от Бориса и девочек, но я никогда не видел их на госпитальных сеансах. Моя мамочка объясняла это тем, что это не разрешается, а я — приятное и единственное исключение.

Спасибо начмеду Викторову!

Но каким же коротким и горьким оказалось это знакомство!

В госпитале Полина показывала кино дополнительно к своей работе. А главное место её службы оказалось в самом главном и большом кинотеатре нашего города “Октябрь”. Но ведь нигде зрители не видят киномеханика? В зале одни стены — и из одной светит лучик — вот он и есть это чудесное кино.

Борис и его сестрёнки ходили в детсад, поэтому Полина всегда работала в первую смену — остальные киномеханицы и киномеханики понимали это, ведь ей надо бежать за детьми! Но вечером, именно вечером, Полине не с кем было оставить ребят! И она тряслась, рассказывала потом мама, всячески наставляла Бориса, как он должен, самый старший и самый ответственный, вести себя.

Быстро убежала тревожная осень, грянула новая зима — мёрзлая и тёмная. В Новый год все мы только и думали, что вот и пробил мой час — осенью в школу, а я уже далеко не маленький — мне стукнуло семь, а в сентябре придёт восемь.

Война ломала своим непостоянством. То объявят, что наши наступают. То скажут, что мы вынуждены отступать. Это, конечно, мама переводила сводки Совинформбюро для моего понимания. А самому мне были понятнее отцовские письма: иногда они приходили пулемётной очередью, одно за другим, потом вдруг замолкали и месяца два, если не больше, ничего от него не было.

Мама менялась в лице. Мне казалось, она худела без вестей от отца, реже говорила с бабушкой, а со мной и вовсе обходилась редкими репликами: как, мол, вымыл руки, что сказала Варвара Клавдиевна в садике и придут ли письма от отца дружка моего Димки, артиллеристского офицера? Письма Димке проходили именно что с артиллерийской точностью, чуть ли не в один и тот же день недели, и мамочка, улыбаясь чужому, печалилась своему.

Однако дни отлетали, в почтовый ящик падал к нам треугольник от папки, и мамочкино лицо разглаживалось, распрямлялось, она улыбалась даже не себе, а жизни.

И вдруг...

И вдруг она пришла домой совсем поздно, так поздно, что бабушка, — да и я, — хотели бежать в госпиталь или, если придётся, в милицию, потому что мамы не приходят домой до самой ночи, только если случилась беда.

Так и было...

Она вошла какая-то изломанная, исплаканная, опустошённая и, не сказав ни слова, только скинув пальтишко, стала долго громыхать рукомыльником.

Мы предчувствовали беду. Бабушка даже закрыла лицо руками. А я ничего не понимал и не знал, что я должен подумать.

Мамочка, наконец, вошла в комнатку, села на краешек стула и бессильным, наверное, до конца издержанным голосом сказала:

— Вчера вечером! Когда Полина показывала кино в госпитале! В доме у неё погас свет. Наверное, Борис попытался зажечь керосиновую лампу. Может быть, уронил её, кто знает?... В общем, сгорели все трое. Соседи не пострадали, но от дома — горелые брёвна. Полина сошла с ума. Её увезла “скорая”...

Я слушал этот рассказ, как будто какую-то выдумку. Вот ещё два-три слова, мама рассмеётся и скажет, что, может быть, такое и могло быть, только не в нашем городе и не у наших знакомых, а в каком-то другом случайном месте, далёком от нас и совсем не настоящем.

Но мама зачем-то упорно разглядывала меня, смотрела очень строго, будто чего-то от меня ждала, что-то требовала, и меня мутило, было нехорошо от такого меня рассматривания, пусть это даже моя мамочка.

— А ты, — спросила она глухим голосом, — можешь зажечь керосиновую лампу?

— Да что ты, Миля! — заступилась за меня бабушка. — Зачем это ему? Детям вообще нельзя ничего такого делать.

— А вот и нет! — не воскликнула, а твёрдо и упрямо проговорила мама.

— Ну-ка, — велела мне, — принеси эту лампу.

И я встал, будто заворожённый, подошёл к широкому подоконнику и осторожно перенёс на стол эту лампу. Конечно, я не зажигал её никогда. Но сто раз видел, как это делается.

— Достань стекло, — сказала мама и не двинулась с места, пока я это не сделал.

— Чуть выкрути фитиль!

Я уж старался не глядеть на бабушку. И так знаю, что она просто дрожит и, пусть безгласно, но запрещает маме делать то, что она делает.

— Возьми спичку и осторожно чиркни.

Я чиркнул и поднёс огонёк к фитилю, он охотно и даже приветливо вспыхнул.

Отключившись от мамочкиных слов, будто убавив звук в нашем репродукторе, я взял стекло и аккуратно вставил его в лампу. Потом прибавил фитиля, чтобы стало поярче.

Обтёр руки о штаны, обернулся к ней, но она быстро встала и ушла за перегородку, а бабушка перекрестилась и прошептала мне:

— Зови меня, когда я есть. Говори маме! А сам!.. А сам!..

— А сам, — громко сказала мамочка из-за перегородки, — будь... будь... Она так и не договорила, каким мне надо быть, если зажигаю лампу.

17

Чем старше я становился и чем дальше в прошлое отходила эта печаль, тем чаще я ловил себя на мысли, что мамочка моя крепко жалеет о том киносеансе в госпитале, после которого мы пошли к Полине. Ей хотелось бы, догадывался я, — будто киномеханику, — вырезать из целлулоидной ленты жизни всю эту встречу! Острыми ножницами! Чтобы её не было в моей памяти. И, наверное, её тоже.

Не говоря друг другу ни слова, ни я, ни, оказывается, мама никогда не ходили по той улочке, вернее, по тому кварталу этой улочки, где стоял когда-то резной домик.

Когда пройдёт время, закончится война, вернётся отец, а я закончу четвёртый класс, она не мне даже, а отцу, вспоминая, как мы жили в войну, скажет про детей Полины:

— Их похоронили в закрытых гробиках.

Но до этого мы с мамочкой всё-таки Полину увидели.

Было воскресенье, мы отправились на рынок, чтобы купить чего-нибудь съестного — и зачем я увязался с мамочкой, одному Богу известно. Впрочем, может, для того и увязался, чтоб это увидеть.

Мы шли по рынку, по слякоти его весенней. Отвратительное, но нужное — куда денешься? — это место, где люди продают и покупают еду и одежду, чтобы быть сытыми и одетыми, считай, самое что ни на есть место во имя жизни. Но какой же неприветливой гляделась тут эта жизнь. И в этот миг точно из-под земли перед нами явилась женщина.

Волосы её были короткими, торчала кучками, тряпица на голове свалилась в грязный клоч, а вместо пальто на женщине висела урезанная, снизу изношенная шинель.

Она остановилась перед нами, молча протянув руку, а мамочка выдохнула:

— Полина!

Я сжался, вглядываясь в эту бродяжку. Но ничего от Полины в ней не увидел. Может, глаза только — да разве же я мальчонкой вглядывался в глаза взрослых женщин?

Полина не откликнулась на мамино восклицание — смотрела равнодушно, пусто, слегка покачиваясь: стоял полдень, а она была уже хороша.

— Полина! — снова воскликнула мама. — Ты меня узнаешь?

Казалось, она глухая, ничего не слышит вообще, потому что ничего в ней не шелохнулось. Она снова протянула руку, и тогда мама сунула ей бумажку — нерешительно, не зная и в самом деле, что делает. Мы обошли ту женщину с двух сторон и, оборачиваясь, глядя на спину её, двинулись дальше.

Больше я не встречал её. Мама тоже. Потом настало время, когда я нарочно пошёл по улочке, где был когда-то сгоревший голубой дом. Там лежали чёрные брёвна. Они проросли крапивой. Высокие такие охвостья.

Да, когда приходит война, откуда-то являются вши. Это в животном мире. И когда приходит беда, в растительном мире буйствует крапива.

А может, она благородна, эта крапива: скрывает собой, затупёвывает зелёным цветом чёрные следы огня и неисправимой беды?

18

А потом настала школа! И хотя всякие переходы пугают — из сада, где тётки горшки подают, в класс, где с тебя чего-то спрашивают, — этот перевал достался мне легко. Пока другие мекали и мыкали, собирая буквы из алфавита в части слова, я свободно читал и считал до ста, а потому частенько ловил себя на том, что на уроках мне скучно.

В общем, я промучился весь первый класс, не вылезая из пятёрок по всем предметам, которых и было-то — раз, два и обчёлся.

В городе все школы разделились на мужские и женские, и только наша начальная, да ещё несколько таких же, которые учили до четвёртого класса, остались по-довоенному штатскими: мальчишки и девчонки вместе. И всё бы ничего, кабы не туалеты. У девчонок всегда очередь, у нас — никогда.

Все подробности этого раздела жизни, тогда негласного, придут к нам не спеша, без всяких противоречий и много лет спустя, а пока мы только этой очередью и различались.

Учительница наша Юлия Николаевна, благообразная старушка с белыми приглаженными волосами, почти всегда улыбалась нам, была терпелива и доброжелательна, из себя не выходила, да и куда тут выйдешь — перед ней вчерашние детсадовцы в лучшем случае, а в худшем — дети, явившиеся прямо из дому. Многие мальчонки и брюки-то застёгивать, где полагалось, забывали, потому что всё дошкольное время провели в штанах на резинках — признак мальков, не призываемых к ответу. Но наша Юлия Николаевна даже на ширинки эти несчастные внимания не обращала, отводя лишь потупленный взор — и это был её деликатнейший сигнал.

Только с годами, со взрослостью приходят в голову мысли о таких почти невидимых несовпадениях: идёт война, каждое утро мы слышим тревожный голос по радио, а в классе нас встречает улыбкой очень, как и полагается, молодая учительница и разговаривает так, будто за окном ленивое лето, ласковое небо и стремительные стрижи в небе — этаким райский мир, а нам, его маленьким жильцам, надо только учиться себе в радость, уметь читать, писать и считать, чтобы чуть позже подступиться к знаниям потруднее.

Пока же нет никаких тревог. И никаких трудностей. А эти трудности легко одолеть и научиться умению. Учиться же этому следует с радостью, забыв о другом, хотя бы пока ты на уроке.

Много лет спустя, когда никого из наших наставников давно уже нет, не устаю удивляться тому, почему, скажем, Юлия Николаевна была так уверенно улыбчива и покойна?

О! Теперь-то я знаю, что у Юлии Николаевны, как раз когда мы сидели у неё за партами в первом классе, под Москвой погиб сын. Но тогда узнать это было нам не дано. Она и одного дня не пропустила — уроки тикали, как по часам. И улыбаться не перестала...

Или мы были неразумны и невнимательны? Просто малы?

А, может, эта бронированная улыбкой седая женщина в тот день тоже оказалась на фронте? На своём личном фронте? И получила незалечимую рану. И ей было нестерпимо больно. Но закричать, убежать, бросить нас, бестолковую малышню, она не могла, не имела права, и ей пришлось сжать в себе своё страшное бедствие...

Из школы я бежал к бабушке. Её дом был в трёх кварталах от школы, и я одолевал это пространство бегом, изредка переходя на быстрый шаг.

Почему-то почти все мы не выходили из школы, а выбегали. Дверь хлопала — как не разлеталась в щепки? — все отчего-то выкрикивали разные междометия или громко говорили. Будто освобождались от какой-то тяготы, что ли? Но уж и тягот-то особых мы не знали пока, потому что учились в начальной, а значит, смешанной школе. Наверное, это такой знак детства: собравшись в кучу — толкаться и шуметь, а выскакивая из школы, освобождённо орать.

Освобождаясь от чего?

Крик этот затихал через несколько метров ускоренного бега и превращался — у меня, по крайней мере, — в молчаливый и сосредоточенный бег на известную дистанцию с понятными поворотами, очевидными спусками и необходимыми подъёмами. Чтобы споткнуться о бабушкину дверь.

Отворив её, я попадал в известный мне покой.

Кот Тимофей сидел на подоконнике и без конца разглядывал пробегающую за окном действительность. Старый сундук, с обитой жёстью крышкой, над которым висела вешалка с полкой, а на ней то, что одевают, выходя из дома. Рядом древний диван с вылезшими пружинами. Далее — комод, где зеркало, слоники и чёрный репродуктор. Обочь ножная швейная машинка “Зингер”, этажерка с книгами, среди которых самая толстая, с непонятым названием “Капитал”, без картинок, с маленькими буквами и толщиной в три, наверное, мои ладони.

Дальше — буфет, кровать, шкаф, за плетёной загородкой — вроде кухоньки с самоваром и кастрюлями, но готовить всё приходилось на столике в коридоре. Такое вот обозрение — от двери и обратно к той же двери. Вот ещё посередине, чуть правее — обеденный стол. Пока пустой.

Сейчас же, как только я вымою с мылом руки, баба Маня нальёт мне сушка, и мне нет дела, из чего он сварен — капуста, кусочки окунька из нашей реки, гороха или американского пакетика с неведомым порошком.

Потом, без передышки, бабушка протирает стол, и я готовлю уроки.

А дальше я слушаю какую-нибудь сказку по радио. Например, про недобрую девочку, называется “Айюга”. Или рассказы про природу Виталия Бианки. Артисты читают так, будто бы всюду мир и покой, а война где-то в такой дали, что никогда тебя не заденет. Став взрослым, я однажды сообразил, что детские радиопередачи военной поры, никак не забываемые мной, задуманы кем-то вроде успокоительных для нас таблеток. Наподобие валерьяновых пилюль, которые тебя успокоят и утешат.

Трудно описать, как именно я слушал эти передачи. Ну, прежде всего, я удобно устраивался на старорежимный диван с выпирающими пружинами. Садился в уголок и внимательно вслушивался в каждое слово. Мужчины и женщины, которые читали рассказы, обладали голосами, всегда подходящими содержанию. Сильные, мужские, иногда басоватые, но всегда добрые, как и женские, немолодые, будто бы уговаривающие, объясняющие тебе одному, как там происходит и что. И вроде перед тобой прямо живая являлась хитрая Лиса Патрикеевна. А муравьишку, который домой спешил, было жалко до слёз, и как здорово, что он всё-таки успевал прибежать до заката солнца к маме своей.

Это удивительно не совпадало с жестокостью войны, но именно радио той поры обучило меня такому странному, но твёрдому нежеланию придавить муравья, жука, гусеницу — разве что на комаров это не распространяется. Потому что они — кровососы. И этот уголок давно несуществующего дивана я помню тоже, как полезный урок. Потому что, принимая меня в свои объятия, он научил меня слушать и слышать... А это не одно и то же, как известно.

Я, конечно, гулял под бабушкиными окнами, чтобы она могла в любой миг видеть меня и вернуть домой своим нестрогим приказом, я, конечно, рисовал, крутил педаль швейной машины, представляя себя мотоциклистом,

а чуть позже, во втором классе, записавшись вместе со всеми в библиотеку — без усталости читал. А в конце дня, зашло солнце, мы с бабушкой собирались и шли к нам домой.

Бабушка меня сопровождала.

Они с мамой никуда не пускали меня одного. Утром мама вела до школы, вечером домой меня приводила бабушка. Единственный отрезок от школы до бабушки после уроков я несся бегом, ни с кем из встречных не разговаривая и ни на какие вопросы не отвечая.

И это все неспроста.

В сорок третьем по городу разнеслась чудовищная молва. В подвале дома, мимо которого мы с мамой всякое утро шли сначала в садик, а потом в школу, поселились какие-то приезжие люди.

Я пробовал много раз представить их лица, их одежду, и всякий раз мне мерещились мохнатые чудовищные морды в рваных одеяниях, даже на телогрейку не похожих. Так вот эти люди поймали то ли какую-то девчонку, то ли мальчишку, убили его, мясо провернули в мясорубку и напекли пирожков с этим малышом. Стали продавать на рынке. И вроде пирожки эти шли бойко. Пока кому-то в пирожке не попался детский ноготок. Вот!

Даже сейчас, когда вечно спустя я рассказываю об этом, история эта мне кажется выдумкой, придуманной хитроумными взрослыми, чтобы ребятня, расшатавшаяся в войну без отцовского присмотра, остерегалась и не шлялась по улицам до ночи, а подчинялась правилам военного времени.

Но, странное дело, у того подвала действительно сколько-то дней дежурили милиционерши с кобурами на поясе, где — а это все, даже дети, хорошо знали — вместо пистолетов были драные чулки и носки. Оружия не хватало, а надо же было как-то придать милиционерскому облику грозный вид.

Слухи про пирожки с младенцами подогревали взрослые, мамочка и бабушка были в их первых рядах, а моей силы воли ещё не хватало, чтобы самостоятельно и надёжно преодолевать в одиночку путь от бабушки до дома.

Так что я следовал вместе с бабушкой, которая обожала брать меня за руку и вести рядом, как послушного барашка или молоденького пёсика. По природе вещей я сначала был покорным. Но всё чаще пацаны, незнакомые мне, да и неведомые прохожие, смотрели на нашу с бабушкой парочку с лёгким удивлением, а то и просто с изумлением.

Я стал вырываться.

Бабушка настаивала на моём послушании, я сопротивлялся. Она обращала своё требование в педагогический манифест, утверждая, что послушание старшим вообще серьёзное дело и может помочь мне в жизни. Как же, к примеру, без послушания в армии? Или без послушания многообразному начальству, которого, ох, много встретится мне в моей предстоящей взрослой судьбе.

Я не отвечал, но руку не давал, и с очень-очень глубоким вздохом моя любимая бабушка Маня уступила мне после многодневных, даже многомесячных препирательств.

Теперь мы ходили рядом. Теперь уже никто не паялся на нас. Ну, идут старушка и внучек — чему тут удивляться?

Посидев со мной дома уже у нас, бабушка чаще всего дожидалась мамы и передавала меня с рук на руки. Ещё она зажигала дрова, положенные в печь мамой с утра, и комната наша потихоньку нагревалась.

Иногда, впрочем, бабушка почему-то спешила, и я оставался один! Какая удача! Я мог петь, кричать, декламировать стихи по книжке, и дело дошло до того, что я стал становиться на руки перед платяным шкафом: ноги вверх. Похоже, всё это помогало утверждению моей личности: я и в одиночку мог развиваться по всем правилам воспитания!

При этом, оставляя меня в одиночестве, бабушка наказывала, чтобы я дал протопиться печке до конца, шуровал кочергой и обязательно давал прогореть маленьким синеньким огонькам, уже когда дрова превратились в угли, и только тогда — запомни, только тогда! — закрывал заслонку на самом верху печки. Для чего мне следовало приставить стул, а встав на него, подняться на цыпочки.

Пару раз я строго следовал бабушкиной инструкции. Пару раз вовсе забыл закрыть эту печально памятную задвижку.

А забывал я потому, что мне иногда становилось не весело одному, а сначала скучно, потом совсем грустно. А то и страшно. За обоями кто-то шуршал, даже зимой, когда всё насекомое царство спит. В мороз бревёнчатый наш домишка стреляет, как, может быть, миномёт на фронте. Даже включённое радио не помогало: вдруг музыка прерывается, и тебе говорят тяжёлые известия. А ты один. Mamochka на работе.

Тогда я одевался, шёл к воротам и по их перекладинам забирался на столб, который держал калитку.

С этого столба было хорошо видно на два квартала в обе стороны, и я всматривался туда, где большая улица пересекалась с нашей, узенькой.

Всё моё существо сжималось в этом ожидании. “Скорей бы, скорей!” — шептал я про себя, подгоняя мамочку. Она всегда укладывалась точно в срок, отведённый на скорое передвижение от госпиталя до перекрёстка.

И вот я видел её сначала маленькую фигурку.

Она никогда не шла эти два кварталчика, она всегда их пробегала, моя мамочка. И я точно знал, что она торопилась ко мне.

Ещё издалека, увидев, что я сижу на приворотном столбе, она махала мне рукой. И я махал ей двумя руками — как только я не сваливался всякий раз, размахивая ими и не держась за столб?

И вот она приближалась. А я скатывался со столба и бежал ей навстречу. И я тыкался головой ей в живот, и она прижимала меня к себе, приговаривая всякий раз новое:

— Сидел бы дома, в тепле!

— Читал бы лучше книгу, сынок!

— Ну чего ты, я и так бегу!

А я отвечал:

— Да я просто так!

В результате пару раз печка прогорала. Мама не ругалась, не корила меня, но снова накладывала дрова.

Мне даже казалось, что она радовалась этой моей забывчивости. Но я чувствовал себя виноватым.

20

И вот я наказал себя.

Маму встречать на столб не полез. Чувствовал себя усталым, что-то позванивало в ушах, какие-то нежные колокольчики, маленькие, как у ландыша.

Это был мой второй класс, и я считал себя личностью, освободившейся от наивной бабушкиной охраны. Утром мама ещё провожала меня до школы, вернее, до ближнего к ней угла — дальше было уже неприлично, потому что остальной народ приближался к ученью вольно и неопасливо. А вот уж от бабушки, среди бела дня, выучив предварительно уроки, я шёл теперь независимо и свободно, раз в десять дней заглядывая в библиотеку для обмена книг, прохаживаясь вдоль вовсе не пустых полок городского универмага, где товары, неширокого, впрочем, ассортимента, продавали по ордерам.

Это такие талончики с печатями. Их выдавали взрослым на работе, и в общем-то никакого серьёзного интереса к рулонам мануфактуры или женским кофточкам у меня не было, кроме разве познавательного. Ведь познание мира происходит не у доски с учёными формулами, не на звёздном небе ясными ночами — хотя и там, и тогда тоже, кто же спорит! — а при узнавании сущей ерунды. Помню, как удивился вдруг одеколону в красной коробочке “Огни Москвы”. Сначала — что его продавали без ордеров, потом, что цена была доступна даже для меня, если я насобираю какую-нибудь мелкую сдачу: оставив её, когда меня пошлют, например, отоварить карточки. А прилетит Восьмое марта, и тогда я принесу маме эту коробочку — вот удивится-то она!

Одним словом, я познавал мир самым бытовым образом, освобождаясь от бабушкиной опеки.

Ну, и, ясное дело, оказался наказан.

Я пришёл домой, затопил печь. Поглядывал на часы, стоявшие на комодике: до маминого возвращения ещё оставалось приличное пространство. Книжка, которую я принялся читать, называлась “Серая шейка”. А писатель — Мамин-Сибиряк. Я жалел Серую шейку, у которой сломалось крыло и она плавала в озере, которое медленно замерзало от холода. Я боялся за неё, потому что по берегу прогуливалась безжалостная лиса. Но почему-то думал ещё и совсем про другое. Я думал, зачем такая фамилия у писателя? Ну, Сибиряк, это понятно, наверное, родился где-нибудь в Сибири. А вот — Мамин? Почему он не как я — не Мамочкин? Как бы это звучало? Мамочкин-Сибиряк. В общем, вот такая ерунда посетила мой лоб, и мне стало сладко и как-то протяжно.

А очнулся я от голоса моей мамочки. Он слышался откуда-то издалека, словно сквозь густой туман. Я открыл глаза и увидел её испуганное лицо.

— Не закрывай глаза! — кричала мамочка, а я слышал это будто писк.

Потом снова всё умолкло.

Я только почувствовал, как стукнул обо что-то мой ботинок, а меня бросало в жар, пока не стало прохладно.

Наконец, я понял, что мама хлопает по моим щекам.

— Сынок! — говорила она твёрдо и настойчиво. — Сынок, открой глаза.

Я послушался, но перед глазами плыло низкое небо и чёрные кусты. Наконец я вздохнул и очнулся.

Мама прикладывала к моим вискам что-то холодное и едкое. А к носу поднесла ватку. Я сразу чуть не вскочил. Правда, это только показалось. Мама рассказывала потом, что я просто встрепенулся.

Никаких врачей, никакой “скорой” мне не вызывали, мамочка заметила, что её медицинского образования хватило понять — я угорел, закрыв печку раньше положенного. Не отгорели синие огоньки. Но я же видел, что они отгорели, пошуровал кочергой.

— Надо было ещё подождать! — ласково поясняла мне мамочка. — Ну, а если не было синих огоньков, совсем плохо...

Ей пришлось настезь отворить дверь и форточки, начисто выстудить, выветрить нашу комнатку, потом снова затопить печку.

Утром мамочка проводила меня к школе, к самым дверям, я помахал ей рукой на прощание, а она всё пристально и тревожно вглядывалась в меня, наконец, мы разошлись.

В классе было прохладно, обыкновенно, я чувствовал себя нормально, а потом снова поплыл куда-то.

На меня брызгала водой из стакана Юлия Николаевна, впрочем, не обеспокоенная, не встревоженная. Теперь уже приехала “скорая”, и мне сделали какой-то укол в руку. Потом из класса перевели в учительскую и дали эмалированную кружку с горячим и сладким чаем.

Появилась бабушка. Вызвали маму.

Она приехала на легковой машине начмеда Викторова, сразу её отпустив, погладила мне голову, но не заплакала, не распустилась, а прошла в комнатку директора, где слышался голос нашей Юлии Николаевны. Она говорила что-то негромко, а мама отвечала ей в полный голос, и во мне остались только её фразы.

— Да, я знаю, что у него малокровие. Без всяких анализов.

— От талонов не откажусь, но вряд ли поможет.

— Спасение не в карточках, а на рынке. Но денег нет.

Потом мама сопротивлялась:

— Нет, нет! Ни за что!

— Я сама! Сама!

Она вышла разгорячённая, как была в своём пальтишке, даже розовая от возбуждения. За ней показалась Юлия Николаевна. Она качала головой, пожимала плечами, но ничего при мне не сказала.

Все втроем мы отправились к бабушке. И там мама заставила меня вышить столовую ложку рыбьего жира. Бабушка жарила на нём картошку.

Он вонял страшной вонью, этот жир, и меня всегда тошнило, когда мама пробовала меня принудить проглотить эту гадость.

Но на этот раз она впервые повысила на меня голос. И крикнула на меня совсем по-взрослому:

— Ты мужчина или сопля!

Я изготвился зареветь от такого оскорбления, но мама сбавила обороты:

— Представь, что ты просто ешь жирную рыбку!

Я проглотил, и мама дала на закуску кусочек чёрного хлеба с солью. Прошло.

21

Мы посидели, помолчали, послушали радио. Женщины разменивались пустыми фразами — так говорят, когда говорить не о чем. Может оттого, что слова произносились редко и вяло, меня потянуло в сон. Голова моя, наверное, поникла, свесилась, и со стороны, вероятно, я походил на вытянутую из грядки редиску: тело моё — это хвостик, корешок, а голова — главная часть этого овоща, красный шарик. В общем, мой шарик повис, а я, возможно, даже всхрапнул.

Потом я будто бы покатился по какой-то лестнице. Меня потряхивало, — не сильно, но всё-таки — я скользил вниз, и мне было приятно, пока вдруг резко не ударился обо что-то нетвёрдое.

Я открыл глаза и увидел лицо мамочки. Я улыбнулся ей и попробовал снова спрятаться в сон. Но опять что-то встряхнуло, и только тут я понял: да это трясёт меня моя собственная мама. Я ей улыбнулся снова, что-то пробормотал, но из сна своего отчего-то выбраться не мог.

Мама, видно, похлопала меня по щекам, потом брызнула на меня водой. Только тут я вздрогнул и начал вылезать из темноты, из приятного тепла, из какого-то малинового сна, потому что любил малиновое варенье.

— Ты что? — спрашивала мама громко. Даже и не спрашивала, а допрашивала. — Ты что?

— Ничего, — еле слышно лопотал я, и тогда мама схватила меня, поставила на ноги, потёрла мне ладонями уши.

Вот! Уши! Оказывается, если их потерять, не сильно, конечно, но настойчиво и быстро, то человек оживает, просыпается, и если не приходит в себя, то всё-таки возвращается в этот мир из снов своих и сновидений, из обмороков, потерь сознания, что, вероятно, случилось и со мной.

Мама вскочила, принесла мокрое полотенце, отёрла моё лицо, шею, уши. Потом поставила меня на ноги и, взяв моё лицо в свои руки, вдруг ловко — но ведь она же медицинский работник! — оттянула веки моих глаз, заглянула туда и вымолвила одно слово:

— Боже!

Все последующее я воспринял как затянувшуюся, скучную, неинтересную мне, но зачем-то нужную маме киноленту.

Мы шли, шли, шли, и мамочка двигалась, как мощный паровоз, например, серии “ИС”, что означало “Иосиф Сталин”, а я, лёгонький, пустой вагончик, волочился за ней в неизвестном направлении.

Я плохо понимал, не только зачем мы идём, но даже и в каком направлении-то. Только вот паровоз уверенно двигался по снежной дороге.

Потом хлопнула дверь, мы вошли в какое-то пространство, белое и чистое, с белыми скамьями, вообще-то похожее на больницы, но не больницу, хотя бы по тому, что коридор был пуст.

Бел и пуст.

Мамочка усадила меня на скамью, сняла с себя пальто, потом размотала серый шерстяной платок, которым оборачивала свою голову, наклонилась ко мне и очень строго приказала:

— Сиди спокойно. Не засыпай. Я скоро.

И исчезла в белой стене, которая перемежалась такими же белыми дверями.

Пока я сидел в белом коридоре на белой лавке, его пересекли две или три тётеньки. Одна из них, последняя по счёту, пробежала. Точнее, она выскочила из двери, куда зашла мамочка, пробежала по коридору, заскочила в другую и оттуда вернулась обратно и снова бегом.

Всё это довольно тихо. Я даже подумал, что, наверное, у неё на ногах тапочки — она бегала бесшумно.

Всё это ко мне не относилось, я держал мамино пальто и платок, и в этом состояла моя скромная обязанность. Потом дверь отворилась, и в проёме я увидел мамочку.

Мне хотелось обрадоваться, — да я и обрадовался, но ещё испугался. Мама была в своей нарядной довоенной зелёной кофточке с серыми обшлагами — яркая зелень мамочку молодила, будто она какая-то летняя, светлая, солнечная, даже в зимние холода от мамочки из-за зелёного цвета её одежды веяло теплом и надеждой... А вот теперь я увидел зелёным её лицо.

Чёрные круги под глазами и зеленоватое лицо, да ещё и зелёная кофточка, вдруг совсем не оказавшаяся нарядной.

Маму поддерживала та медсестра, пробежавшая по коридору. И они как-то медленно подошли к скамье, где я сидел, и мама села рядом.

— Вы минуточку подождите, — сказала женщина в белом, исчезла и очень быстро вынесла маме эмалированную кружку с чаем.

— Вот выпейте! Посидите! Не торопитесь!

Она снова исчезла и опять вернулась с ваткой в руках, от которой шёл резкий запах средства, уже известного мне.

Она протерла виски моей мамочке нашатырным спиртом, а потом ещё дала какие-то бумажки.

22

От чая мамочкино лицо медленно порозовело. Она шепотом поблагодарила опустевший коридор. Кружка осталась в одиночестве на лавочке, а мы вышли на улицу.

Мой могучий паровоз утратил свою мощность. Он двигался медленно, хотя и твёрдо. Так же твёрдо он останавливался, будто получал чьё-то высшее приказание. Стоял минуту или две, а потом дёргал свой лёгкий вагончик дальше, и мы двигались куда-то вперёд.

Опять я ничего не знал, а просто шевелил ногами. Они не уставали, мои ноги, не наливались тяжестью. Но и лёгкости я не чувствовал. Механически передвигал их, и снова что-то в голове моей то ли замыкало, то ли отключалось. Похоже, я покачивался и тогда мой паровоз останавливался. Наверное, мамочка смотрела на меня сверху вниз, но у меня не доставало сил посмотреть ей в ответ снизу вверх.

Мы просто останавливались. Потом двигались дальше.

Мамочка шла по улицам мне вообще-то известным, но конечную цель я определить не мог. А шли мы к новым домам.

В нашем городе, почти сплошь деревянном, до войны построили несколько каменных, нам казалось, красивых домов, где жили значительные люди. За ними приезжали две или три “эмки”, перед которыми все разбегались, вглядываясь вослед им с терпеливым непониманием — в общем, дом не для всех и всяких.

В первом его этаже до войны работал магазин, а когда началась война, всякие торговые вывески с него сняли. Но окна по вечерам там светились, народ туда заходил, но редкий, и город постепенно узнал, что еда, которую там не столько продают, сколько выдают, доступна в обмен на кровь.

В те свои лета, не всё понимавший ещё и уж, тем более, не всё знавший, я плыл по течению общей жизни, брёл по тропинке судьбы — моей ли, общей ли, — и не сразу — ох, как не сразу! — мог понять происходившее. Это происходившее текло, как вода, придвигалось к тебе и отступало самыми простыми событиями, которые ты поймешь спустя десятилетия, а оценишь и ещё позже, содрогнувшись в один нечаянный миг и устыдившись: как же ты не понимал происходившее с тобой в тот самый миг, когда оно происходило-то?..

Но мы бываем подслеповаты и не видим ясного, бываем глуховаты и не слышим произнесённого, бываем обыкновенны и, увы, не чувствуем необыкновенности, происходящего с нами... Как это горько и несправедливо!

Но вот точно так было со мной.

Я плёлся рядом с мамой, которая крепко держала меня за руку, я слышал, как тяжелеет её шаг, совсем уставший, я глядел на заборы нашего городка, на снег, свисающий с этих заборов затейливыми змейками, я всматривался в лица домов и был похож, наверное, на усталую собачонку или на ослика, бредущего неизвестно куда и зачем. Я был маленькой животинкой, в валенках, в меховой шапке и пальтеце, в которое задувал ветер, и меня вела моя мамочка, с какой-то непонятной мне целью, и мне надлежало идти рядом с ней и быть во всём послушным — а что я мог и способен был сделать иное?

Мы добрались до берега, до красивых довоенных домов, вошли в дверь без вывески, и мама усадила меня на широкий и невысокий подоконник.

Я мельком разглядел за полукруглыми довоенными витринами всякие вкусоности, но то ли от затянувшегося путешествия, то ли от безразличия к недоступному, отвернулся к окну и стал смотреть на улицу.

Ветер там завинчивал снег в спирали, переметал дорожки, чистить которые никто не спешил, люди проходили поспешно, норовя побыстрее укрыться в домах, сумерки гудели сине-серым цветом, только здесь было тепло и тихо.

Мамочка подошла ко мне с кульком из серой обёрточной бумаги. Бумага эта будто промокла какими-то непонятными пятнами. Она сказала:

— Открой рот.

Я послушно открыл рот и даже прикрыл глаза. А дальше почувствовал, что во рту разливается какое-то тёплое и чудно пахнущее яство.

Масло! Это было топлёное масло!

Оно растаяло и утекло в меня, а мама положила в меня ещё один кусочек и ещё один.

Они были совсем маленькие, эти кусочки, может, с половинку школьной резинки, но в них было столько добра и радости, что я ощутил чуть ли не сразу, как светлеет моя голова.

Кулёчек был невелик. Кроме него, мамочка держала свёрток с ещё какой-то едой, но топлёное масло обладало волшебной и мгновенной силой.

Что-то во мне включилось. Я ожил. Я встал с подоконника. Я распрямился.

— Ну, идём! — сказала мамочка, и мы вышли на ветреную улицу. Снег сёк моё лицо. Ветер распахивал полы пальтеца.

Нет, я вовсе не предвкушал радостного ужина, не думал ни о чём съедобном. Я просто шёл, дышал, моргал глазами, спасаясь от летевшего снега. Я снова жил. И мамочка опять вела меня за руку.

Но ведь и ей снег сёк лицо. И ветер распахивал полы её тонкого пальтишка. А в отличие от меня, она не позволила себе проглотить хотя бы маленький кусочек топлёного масла.

Ну почему же, почему я не заставил её сделать это?

Почему я не заплакал, не встал перед ней на коленки? Ведь я уже понимал, что эти спасительные кусочки ей дали за её кровь!

Вот в этом и заключается детскость детства.

Понимая или догадываясь, мы не умеем поступать по-взрослому.

Иначе мы уже не дети.

23

А детство продолжалось.

Шла война, взрослые страдали и теряли жизнь, и дети делили их муки. Но тыл потому и называется так, что в тылу должна быть не просто справедливость, но — спасительность, что ли...

В тылу переводили дыхание беженцы, которые бежали от врага, в тылу лечились раненные в боях солдаты, и без остановки работали заводы, делав-

шие танки, самолёты, снаряды, без которых не победить. В тылу собирались новые армии взрослых мужчин.

Но в тылу ещё жили дети. И взрослые учили их, лечили их, кормили и поили их, чтобы выросли новые люди, которые совсем скоро сами станут взрослыми.

Утром, зимой, я вставал, завтракал, и мама опять и опять вела меня в школу. По городу бил мороз, как тяжелая артиллерия, даже дышать было трудно, но мы пробивались сквозь него к школьным дверям, потом уроки, потом к бабушке, где я выполнял домашние задания, потом домой. Мамины летние платья из родительского шкафа исчезли уже давно. Но я не заметил, как пропала одна-единственная драгоценная пара довоенных туфель-лодочек, до которых мама, по её словам, не знала жизни.

В шкафу совсем одиноко висел безработный отцовский костюм — пиджак и брюки, — но вот с ними мама не расставалась. Она никогда не обсуждала судьбу этого костюма, и всё.

А сама ходила в одном-единственном тёмно-зелёном платье, которое носила и зимой и летом, без всякой смены, изредка его простирывая, этакое всеесезонное обмундирование медицинской лаборантки в военном госпитале. Даже по цвету армейское.

Правда, у неё были ещё две юбки и две кофточка, которые то и дело развезжались по швам.

Но так дозволено рассуждать из взрослости моей, жалея маму. А тогда я и не понимал, что можно жить по-другому, как-то выворачиваться и одеваться иначе. Нет, ничего иначе и по-другому быть не могло. И следовало радоваться, что всё слава Богу, и я в малокровные свои обмороки падать перестал. Зато мамочка совсем пересохла! Похоже, она продолжала сдавать кровь без моего сопровождения, и на глазах превратилась в сухонькую старушонку, переливающую в меня свои последние силы.

Так что я, кинув портфель, влезал на столб, державший калитку, и ждал, когда прилетит, а верней, прибежит моя совсем исхудавшая, истощённая, но всегда улыбающаяся мне мамочка.

И вдруг!

И вдруг нас ограбили. Какая же это была глупость этих самых грабителей. Не знали, куда лезут? Просто выломали окно, забрались, всё перевернули, отыскивая — что?

Разве, глядя на наш старческий комод со слониками, на репродуктор, зацепленный за длинный гвоздь, на жалкую этажерочку с книгами, на стёганое одеяло, истончавшее от старости, можно было рассчитывать на поживу в такой комнатёнке? Но они нашли, гады. Из шкафа исчез отцовский костюм.

Даже малым своим умишком я удивился мамочкиному отчаянию.

Как плакала она, даже рыдала!

Ну ладно же, думал я, и даже произносил эти слова! Папа вернётся, и купим новый. Да вообще, костюм, конечно, отцовский, но он всего лишь костюм, а не человек!

И лишь чуточку спустя мне тоже пришло это в голову. Мамочка думала, раз украли костюм, значит — всё.

Тогда я заплакал вместе с ней. Завыл маленьким волчонком. Хотя совершенно не знал, как воют волчата.

Нас остановила бабушка, сказала, что пришла милиция, и она воров найдёт. И ещё она шепнула маме:

— Сходи в церковь и помолись.

Но мамочка с трудом приходила в себя. Милиции рассказывала про взлом сухо, коротко, без всяких надежд. И оказалась права, костюм не нашли.

Сходила ли она в церковь, я так никогда и не узнал. Но уже на другой день, после того, как в нашей комнатке заделали сломанное стекло, мамочка выглядела спокойной, может быть, даже весёлой. В школе мне выдали талоны на дополнительное питание, я теперь бегал после уроков в столовую № 8, где кормили недоедавших детей, в госпитале мамочке выделили ордер на американский подарок для меня же, и им оказалась шубейка из

какого-то кожзаменителя под тигровую шкуру. Я впервые узнал, что был когда-то такой грузинский рыцарь, то есть витязь. В тигровой шкуре.

И тут я услышал притчу, принесённую мамочкой от её учёной начальницы Елены Ивановны, заведующей лабораторией, подруги начмедка Викторова, а главное, эвакуированной ленинградки и доктора медицинских наук.

Она рассказала ей, будто всякие материальные утраты означают, что обязательно наступит равновесие и в ответ на беду наступит радость. Причем радость духовная. Например, вместо костюма ты не найдёшь на дороге свёрток с другим костюмом и всякой такой ерундой. А произойдёт с тобой что-то другое, невероятное, по сравнению с которым твои страдания покажутся просто глупостью и ерундой. И мамочка этому поверила.

Но кто-то будто испытывал её.

В госпиталь прибывают раненые, она берёт у них кровь, идут операции, и снова всякие анализы, потом бегом домой, приготовить еду, накормить меня, хорошо, что хоть уроки я учу с бабушкой, стирка, письма отцу, короткий сон, в шесть подъём, чтобы завести меня в школу, и снова работа. И вот в этой карусели кто-то неведомый не забывает мамочку и испытывает её.

Однажды она прибегает с работы и держит в руке тощенький кошелёчек, а в нём карточки. На хлеб! На жиры! На сахар! И в кошелёчке этом жалком ещё такие же жалконькие денежки — рублики и трёшка.

Кто-то другой поди бы взорвался! Воскликнул — какое счастье подвалило, наверное, это, как Елена Ивановна предсказывала, и есть расчёт за потерю!

Но мамочка отложила кошелёк на подоконник. Молча перекусила, не отвечая на мои вопросы — что, мол, теперь? А убрав тарелки, оделась и взяла кошелёк в руки. Сказала:

- Ну, пойдём, если хочешь!
- Куда? — удивился я.
- В милицию. Карточки надо вернуть.

До милиции добежали быстро, вошли к дежурному, а там — одни милиционерши. Мужчин нет, но все курят. Я ещё подумал, что, наверное, так положено, ведь милиционером быть — занятие мужское, а если все мужчины на войне и теперь их заменяют женщины, то они их и в курении тоже должны заменять.

Мамочка с порога проговорила решительно, что вот нашла карточки на улице, и милиционерши оживились. По крайней мере, три из них подошли к маме и осмотрели кошелёк.

- Твоя? — спросила одна.
- Нет, — ответила другая.
- Похоже, моя! — проговорила третья.
- Это девочка потеряла, — добавила она. — Прибежала сразу сюда, рыдает! Семья погибшего офицера! Сейчас мы через военкомат их найдём.

И пошла звонить.

Удивительное дело, но нашлась та девчонка быстро. Она бегом прибежала. А минутой позже пришла старушка.

За эту минуту девчонка сначала бросилась целовать ту милиционершу, которая узнала по продуктовой карточке потерявшую её, та вырывалась — показывала пальцем на маму, объяснила, кто нашёл её кошелёк, тогда девчонка бросилась уже к нам, меня как-то неловко задела, повисла на маме, не говорила даже ничего, просто шептала:

- Спасибо! Спасибо! Спасибо!

А старушка, как выяснилось, бабушка её, прямо на колени перед мамочкой бухнулась.

Но всё-таки мамочка работала в военном эвакогоспитале, рядом, можно так выразиться, с войной, много чего навидалась и наслушалась, и она бабушку силой подняла, даже её встряхнула, воскликнула рассерженно:

- Да разве вокруг вас не люди?

Оглядела всю эту дежурную комнатушку, обвела взором всех этих прокуранных милиционерш и, как будто обращаясь не только к старухе, к её внучке, но и ко всем вообще, воскликнула:

— Вы что! Что вы!

— Ой, матушка, — плакала старушка, — как не люди! И военком, и милиционерки, и ты, благодетельница!

— Да какая я благодетельница! — просто возмутилась мамочка. — Шла, увидела, подняла! Всё! Слава Богу, что вы-то нашлись!

Бабушка эта крестилась, что-то говорила, а глядеть на неё было тошно. Одета будто нищенка, и хоть бедно одетых в войну было в городе нашем пруд пруди, эта старая женщина казалась худей худого. Телогрейка как у чернорабочего, платочек, изношенный до рвани, валенки, всунутые в калоши, — так у нас и ходил народ — но эти валенки и эти калоши были старее старухи, и жалостливая жалость сжала моё горло.

А девчонка! Видать, это она потеряла карточки, и вот они нашлись, редкий ведь случай, чтоб нашлись, да ещё их и отдали тем, кто потерял! Так вот, она мне показалась красивой. Может, это беда так её обожгла — она была какой-то блестящей, блестяще-угольной, похожей, может, на цыганку. И глаза у неё сияли, просто жгли...

А может, так жгла беда: вот она нависла над ними и вдруг отпрянула, отошла, передумала! Какая это радость — вновь найденные хлеб на целый месяц, жиры, сахар!..

Мамочка неловко развернулась, обошла девочку и старушку, но та милиционерша закричала:

— Женщина, как ваша фамилия? Давайте протокол составим!

Но мамочка махала руками, молчала и теперь, после бурных восклицаний, сама плакала в три ручья.

Мы вышли на улицу, не оборачиваясь, прибавив шагу, почти убегая от того, что было.

24

Но прошло ещё много месяцев, пока предсказание Елены Ивановны из Ленинграда, как утверждала она, вполне научное, сбылось.

Мы жили по-старому, и зиму сменила весна, лето, появились цветы, а потом и ягоды, и чеснок, и мой любимый луговой лук, который совсем не походил на лук огородный, потому что не жёг глаза, был не горький, а сладкий на вкус, и соль совершенно не требуется, когда ешь его.

Мы повеселели, и мама, кажется, помолодела, потому что, как я догадался, перестала сдавать кровь. Она больше не приносила маленьких кулёчков из донорского магазина. Не знаю отчего, но мне от этого полегчало, будто какой-то груз свалился с души. Хотя, спроси меня в ту пору построже, о чём это таком я соображаю, ни слова толкового из себя бы не выжал.

Весной я уже не сидел на столбе в ожидании мамочки, а просто шёл ей навстречу, всё-таки я был почти взрослым человеком, а она, бегущая по тротуару, хватала меня за плечи, целовала, и дальше мы шли спокойно, потому что я был у неё на глазах. И не имело никакого значения, если мы придём домой на пять минут позже. Таким образом, я сократил её каждодневные пробежки.

Когда начались каникулы, мама радостно сообщила мне, что я могу поехать в пионерский лагерь, хотя ещё и не пионер. Лагерь образуется для детей работников городских госпиталей, и вот лаборатории выделили две пультки — мне да Лёвке Наумову, его мама работала такой же лаборанткой, как и моя, и в той же самой лаборатории.

Настал момент, когда мамочка собрала мне маленький рюкзачок, вернее, его следовало назвать простым мешочком небольших размеров — только шнур внутри горловины: вытаскиваешь этот шнур, горловина сжимается, и ты шнуром его перевязываешь — и всё. И лямки за плечи. Когда такой мешок большой и его несёт на себе взрослый, его называют оскорбительным именем мешочник. Ведь вот того, кто несёт рюкзак, рюкзачником не называют, потому что не оскорбительно. А мешочником обзывай сколько хочешь — за что, за какую такую провинность? Ну, а небольших людей с маленькими мешочками как обзывать — ещё, мне кажется, не придумали...

Ну так вот, мы с мамой пришли во двор госпиталя, а там уже гудел-жужжал человеческий улей: в открытые грузовики приделали сиденья и на них усаживали мелкий народишко, вроде меня. Кто-то даже всхлипывал, из слабонервных, кто-то чересчур возбуждённо хихикал — тоже от волнения.

Тут вышел начмед Викторов, строго оглядел стихший муравейник, потом остановил взгляд на Елене Ивановне, пришедшей зачем-то на погрузку, потом на маме, потом на мне, подошёл ко мне, подхватил меня под руки и усадил — хо-хо, куда бы вы думали?! — рядом с шофёром первого грузовика. Сказав при этом водителю:

— Пусть он рядом поедет!

И неожиданно обратился ко мне:

— Как тебя зовут-то?

Пришлось признаться. Получилось слабовато и хриповато, наверное, от неожиданного разворота простых событий.

Грузовик добирался до лагеря часа два, и я стыдился, что меня сморило. Дорога была колдобистая, полевая, поначалу я радовался выпавшей привилегии, потом меня укачало, и пару раз водитель спрашивал меня, не остановиться ли машину. Но я стыдился, что из-за меня вдруг все остановятся. И ещё приходила простая мысль: если мне, в кабине, худо, то как же чувствует себя ребятня наверху, в открытом кузове, который трясёт и качает покруче, чем кабинку.

Лагерь оказался церковью, только без креста над куполом и без икон, правда, с росписью на стенах. А круглое помещение, где люди молятся, было уставлено железными, но заправленными свежим бельём койками. Они стояли впритык друг к другу, с узенькими кое-где проходами, и строгая, довольно пожилая тётенька в пионерском галстуке, Серафима Ивановна, крикнула нам, едва народ слез с кузовов, чтобы мальчики и девочки зашли в разные двери, а кровати каждый выбирал себе сам.

Я выбрал быстро, толкнул свой мешочек под койку и свалился в койку. Конечно, я слышал крики Серафимы Ивановны, что надо мыться и обедать, но не мог шевельнуться. Сон утянул меня на дно морское, и всё стихло.

Минут через тридцать, всплыв в действительность и оглянувшись, я увидел, что сопят все мальчишки. А тётенька в галстуке сидит на стуле возле столика, опёрлась на руку и тоже спит. Только сидя.

Мы с Лёвкой Наумовым оказались соседями. Удивительное дело, лаборатория эвакогоспиталя, где работали наши мамы, объединила и нас. А уж коли все выдели, как начмед Викторов усадил меня рядом с водителем на передовую машину, это означало и ещё что-то невидимое и важное и для лаборатории, и для нас.

Проснувшись, те, что постарше, доставали из укромных уголков свои галстуки и надевали их. В пионеры, как известно, принимали с четвёртого класса, так что мы с Лёвкой ещё не достигли таких высот. Нас зачислили в младшую группу.

И хорошо! Пожилая пионервожатая Серафима Ивановна, которая, похоже, управляла здесь всеми делами, больше командовала пионерами. К нам приставили молоденькую Груню, которая то была в галстуке, то без него. Была она худюющая и, похоже, голоднюющая — доедала за ребятами, если кто и что не съест, хотя её и так подкармливали за кулисами столовой.

Груня наедалась долго, терпеливо, мы, её подопечные, поглощали свои порции на больших скоростях, и вот тут возникала некоторая случайная свобода. Мы уже вышли из столовки и толкаемся на улице, а Груня всё ещё ест — могла бы и поторопиться.

Серафима же Ивановна, несмотря на возраст, ела вместе с пионерами, ровно столько же, сколько все остальные, и выходила строить отряд сразу после того, как доел свою порцию последний отстающий. Ребята строились, уходили по пионерским делам, а мы всё толклись, неорганизованное комарьё, хорошо хоть солнышко грело, принекало — в общем, походили мы на комаринов-толкунцов, которые вьются в лучах солнышка. Особенно годилось это сравнение по вечерам.

Селение с простым именем Митино — в честь какого-то Мити, то есть Дмитрия — состояло из этой полуразрушенной, но с куполом церкви, где устроился пионерский лагерь, поделённый на две половины — мальчиковую и девочковую, далее по улице скромно сжавшись, стояли два или три домика с огородами за их спинами, потом — довольно длинное здание школы.

Она была покрашена в голубой цвет, ясное дело, ещё до войны, но шумела и бурлила народом — там располагался детский дом для ребят из Ленинграда.

25

День на второй, на третий, нас, малышей, и пионеров Серафима Ивановна с Груней выстроили в колонну и организованно повели в детдом, для знакомства. По дороге старая пионервожатая попробовала дуть в горн, но у неё вырвались какие-то хрипы, похожие на бараньи вопли, она засмеялась, покраснела, сунула горн первому, кто шёл за ней в галстук. Ещё несколько раз ударил в барабан какой-то мальчик из старших. Тоже без успеха.

Зато ленинградцы произвели серьёзное впечатление. Они стояли, выстроившись, все в одинаковой форме, и знамя пионерское у них было, и флажок для флага, и трещали четыре или пять барабанов и всерьёз, без фальши пели горны. Было чем восхищаться.

Сначала нас провели на линейку, чтобы мы построились напротив ленинградцев, при этом Серафиме и Груне помогали не взрослые хозяева, а старшие ребята. Все, кто смотрел на нас, были внимательны, доброжелательны, улыбки и строги враз. Какими должны быть настоящие хозяева.

Мальчик-командир подал команду высоким голосом, мы — как могли, а они, как положено, выровнялись, сжались в стойке смиренно, снова застучали барабаны, запели горны, и на флажок ихний командир медленно поднял красный флаг.

Вперёд вышел взрослый дядька, похоже, начальник этого детского дома, и сказал, что воспитатели и воспитанники приветствуют новых соседей, то есть нас, и готовы оказать любую помощь.

Потом нам предложили разойтись, поговорить друг с другом, познакомиться, пояснив, что детдом и лагерь теперь друзья. На летнее, конечно, время.

Я этому внимал, поражённый, неопытный. Что я, да и, например, Лёвка Наумов, могли знать про такие детдома, про ребят из Ленинграда, ведь они все до одного эвакуированные, а мы — здешние, тутошние. Вообще, что знаем о жизни мы, и что они — приезжие прямо из блокады?

Словом, мы стояли в смущении, хотя уже дали команду разойтись. И тут к нам подошёл парень в голубой рубашке и по-взрослому пожал руки: сначала Лёвке, потом мне.

— Меня зовут Леонид, — сказал он. Мы назвали тоже.

— А вы знаете, — спросил он, — что через день будет солнечное затмение?

— А что это? — спросил Лёвка. Да и я не знал.

Леонид коротко рассказал: луна выйдет на одну линию с солнцем и затмит его. А потом уйдёт дальше, и солнце вновь засияет. Оказывается, всё это можно увидеть, если смотреть в это время на солнце.

— А как? — вырвалось у меня. — Ведь оно спит.

— Ерунда! — весело ответил Леонид. — Через законченное стекло! Приходите, мы всё организуем!

И уточнил: куда и когда.

Весть об этом затмении разлетелась, как рой перепуганных пчёл. Все только и жужжали на эту тему, и Серафиме Ивановне, пока Груня насыщалась за дощатой стенкой, даже пришлось повышать голос во время обеда: мол, надо пищу жевать, а не о каком-то там чуде болтать.

Жару этим наивным рассуждениям поддал один шкет по имени Валерка, из нашей группы мелких недомерков. Он болтался как-то в одиночку, не приставая ни к каким объединениям — ни соседским, имея в виду рядом стоящие кровати, ни возрастным, может, он и был самым младшим из нас?

Но самым худым — точно. Таких обычно зовут доходягами, но до клички у нас пока не дошло, наверное, потому что приехали-то недавно.

Так вот тихий и худой малыш с не улыбочивым лицом, прямо на обеде, поднял руку, и Серафима спросила его:

— Ну, иди, Валера, раз приспичило!

А он поднялся и сказал:

— Я не за этим.

А потом прибавил непонятное:

— А когда окна закрывать будут?

— Почему закрывать? — насторожилась Серафима.

— Ну, одеялами, например. Или чёрной бумагой...

Пожилая тётушка в пионерском галстуке отложила ложку и поднялась, вся прямо напрягаясь. Спросила, строящая всё сильнее:

— Про что ты говоришь, Валера?

— Про затемнение, — ответил он, — перед бомбёжкой всегда закрывают.

Но догадалась всё-таки не наша взрослая начальница. Чей-то звонкий голос крикнул:

— Это не затемнение, бомбить не будут!

Серафима даже за галстук схватилась, осела, махнув рукой. Сказала:

— Я и забыла, что Валера тоже из блокады! Нет, нет, мальчик. Это просто солнечное затмение. Затмение, а не затемнение. Сначала потемнеет, потом рассветёт!

Надо сказать, что это Валеркина путаница в двух, таких похожих, словах, никого не развеселила и не позабавила. Напротив, наша младшая группа так даже примолкла, ещё соображая, что к чему. Пионеры зашевелились, загалдели раньше, а мы всё ещё сидели, прижав уши. Пока Лёвка Наумов не спросил Валерку:

— Так ты из блокады?

Тот просто кивнул.

— А когда эвакуировали? — дотошно допрашивал мой приятель.

— Зимой. Через Онегу, это озеро такое. На грузовиках.

Лёвка приготовился спросить ещё что-то, но Валерка его прервал.

— Прямо за нами шёл такой же грузовик. С ребятами. Снаряд жажнул перед ним. И он сразу провалился.

Было глупо спрашивать ещё о чём-то. Но Валерка сам сказал, что его перевезли к бабушке, она операционная сестра в нашем госпитале. А мама осталась в Ленинграде. Она хирург.

Мы эти слова, конечно, знали, они содержали страх, чью-то боль, и хотелось про такие слова забыть. Но не получалось. Наверное, потому вокруг Валерки образовалось какое-то уважительное пространство. Молчанием его не назовёшь, но пустая болтовня на любые мальчишеские темы затихала, когда он приближался.

И вот настал этот день, когда солнце должно было ненадолго, но уйти, спрятаться от людей. Чтобы, может, они поняли, увидели, что будет, испугались, наконец, и остановили всякие войны?

Весь наш лагерь переместился к детскому дому, а там шла горячая работа. Какой-то взрослый человек резал старые, но до блеска вымытые куски стекла старинным прибором по имени алмаз — надо же, какое название, — а старшие ребята коптели их почти индустриальным образом, одни — обжигая их на свечках, другие на коптильках, раздобытых откуда-то, а потом тут образовалась то ли очередь, то ли толпа.

Наконец, прокатилась почти что тревога, и все, у кого были закопчённые стёклышки, повернулись к солнцу — хорошо, что небо было чистое. Нас было трое — мы с Лёвкой да и Валерка, и первым мы отдали стёклышко ему. Он глядел вверх, губы его растянулись то ли в улыбке, то ли в плаче, и правда, глаза оказались мокрыми, когда он отдал стёклышко другому.

Когда оно дошло до меня, луна заслонила солнце примерно на треть.

Я вглядывался в эту картину, заметив, что движение происходит, если и не очень быстро, то вполне заметно. Как я понял, луна не просто закрыла солнце, но ещё ведь и кружилась земля вокруг своей оси. Нам говорили

об этом в школе. И хоть шар земли был громаден, как и лунный, и солнечный, всё получилось довольно быстро. Вот ты стоишь тут, перед школой и сломанной церковью, где наш лагерь, смотришь вверх, и запросто видишь, как медленно, но и как быстро вращаются светила!

Я отдал стёклышко Валерке, он Лёвке, тот снова мне, и мы стали быстро меняться: хотелось увидеть, увидеть это, как говорят, редкое событие, это затмение самого солнца, надо же!

Потом настало самое главное и самое страшное: чёрная луна закрывала солнце насовсем. Это длилось немного, даже, наверное, несколько мгновений. А потом солнечный серп загорелся снова.

Луна сдвигалась, солнце сияло ярче, и настал миг, когда оно освободилось от лунной тени. И все закричали:

— Ура!

Мы оглядывались по сторонам, толкались и хлопали друг друга по спинам.

Жизнь продолжалась!

26

А в воскресенье приехала мамочка. Она, конечно, приехала не одна — был целый пузатый автобус зелёного цвета, заполненный мамами и бабушками. Это называлось — родительский день.

В этот день отменялись все режимы и нарушения правил, о нём знали заранее и готовились, кто как мог.

Приготовился и я. Возле нашей церкви, буквально рядом и на полянах в лесочке, краснела поспевающая земляника. Я нашёл где-то мятую газету, оторвал от неё кусок, пригладил, как мог, и набрал для мамочки кулёк земляники. Положил его в тумбочку.

А мамочка, приехав и расцеловав меня, потащил меня за руку на какой-то церковный приступок, раскрыла сумку и протянула мне пол-литровую банку земляники.

Вот как бывает! Сходятся мысли людей! Я рассмеялся, убежал в спальню и принёс моей мамочке мою землянику. А дальше мы сидели и ели — я её ягоды, а она — мои.

Мне, конечно, было чем поделиться, и я разрисовал в красках и чувствах солнечное затмение, про которое мама — как удивительно! — даже не слыхала. Помянул я и Валерку, спутавшего затмение с затемнением.

— Я знаю его бабушку! — ответила мама. — Да она и приехала сейчас. Ох, золотые руки! Хирурги меняются, почти на каждой операции, а она почти всегда в операционной.

Мы их и встретили — Валерку с бабушкой — когда стали прогуливаться по деревушке. Они сидели на брёвнышке, почти как мы, но Валерка ел не землянику, а курицу. При этом он приговаривал:

— Да нас ведь здесь хорошо кормят, ба!

— Хорошо-то хорошо! — отвечала женщина. — Да ведь с пустыми руками в гости не ездят.

Лицо этой пожилой женщины было каким-то строгим, неулыбчивым, к тому же она курила, смяв папиросу по-мужицки, прямо в гармошку.

Как курили милиционерши в той милиции, куда мы с мамой относили найденные карточки на продукты.

— Ну как? — спросила она то ли меня, то ли маму. — Наш любимец начмеда?

Мама сильно смутилась, покачала головой, потом ответила ей почти укоризненно:

— Вы же знаете, Ольга Николаевна! Это всё ваше ленинградское братство!

— Охо-хо, — ответила та, — вон тут их, — она кивнула головой, — целый детский дом маленьких бедолаг.

— Не такие уж они и маленькие! — усмехнулся Валерка, — у них и знамя, и горны, и барабаны! Завтра в бой!

— Война не щадит... — погладила его по голове бабушка. — Давай-ка набирай вес. И радуйся, что ты не с ними.

Меня это пожелание как-то запутало, я потом переспросил маму, она уверенно ответила:

— Так ведь у ребят, кто в детском доме, родители погибли! Понимаешь! Почти у всех, наверное!

Я притих, ничего не ответил, а думал про линейку, про стройный отряд мальчишек, уверенных в себе, Леонида, который подошёл первым и сказал про затмение. Концы как-то не сходились с концами в моих незрелых соображениях. И я спрашивал сам себя: а ты бы смог так?

Нет, конечно, я бы не смог. Как и Валерка этот, на глазах у которого грузовик с ребятами ушёл под воду...

Но родительский день продолжался, мы не раз и не два пересеклись с Лёвкой и его мамой, Верой Ивановной, которая служила в одной лаборатории с мамой. Мы останавливались, говорили о чём-то незначительном, потом расходились, обошли все ближайшие перелески, снова и снова возвращаясь к церкви без креста.

Мамочка вздыхала, но ничего не говорила, просто смотрела на облупленные каменные стены, а потом как будто и нашла объяснение своим мыслям:

— Ну прости, Господи! Всё-таки! Под крышей храма твоего малые да сирые хоронятся! Разве же это не твоё! Не Божье дело?

Мир стоял над этим храмом без креста! Тепло было, стрекозы целыми стаями недвижимо стояли в тихом воздухе, треща крыльями. Лежали в кулке ягоды лесной земляники, собранные мной для мамочки в ответ на её гостинец.

И как будто никакой войны! А мир и благодать!

27

Мамочка уехала обратно в город госпитальным автобусом. Вместе с Верой Ивановной и с Валериной знаменитой бабушкой.

Перед тем, как забраться в зелёное брюхо госпитальной машины, Ольга Николаевна потянулась, улыбнулась, глубоко вздохнула, всячески показывая, как ей хорошо, а проговорила совсем другое, обращаясь к двум сразу лаборанткам:

— А вы знаете, что сегодня ночью приходят сразу два эшелона по нашу душу?

Ни мама, ни Вера Ивановна не знали, и операционная сестра добавила:

— А нас предупредили!

С этими вот словечками они и уехали.

А на другой день, где-то к обеду, возле храма затормозила легковая “эмка”, на которой когда-то подвозили мамочку к нашей школе. Помните? Я грохнулся в обморок, и её вызвали. И вот эта легковушка подкатила к порушенному храму, и водитель, вышедший из неё, крикнул Серафиме Ивановне:

— По приказанию начмеда! Николая Кузнецова из младшей группы! С вещами!

Я напугался.

Я слышал, как Серафима, понизив голос, полюбопытствовала — что, мол, и как, — у шофёра, но тот ответил, что не знает, но ночью прибыло много раненых, госпиталь перегружен, и узнавать подробности ему не полагалось.

Я схватил свой мешочек и, не замотав его, бухнулся рядом с водителем. Он меня поощрил, сказал, что впереди меньше качает, и мы понеслись в город.

На прощанье я навсегда запомнил два взгляда: Лёвки Наумова — удивлённый и ничего не понимающий, наверное, такой же, как у меня самого. И второй — Валеркин.

Валерка меня почему-то жалел. Смотрел как-то смущённо, что ли, как будто он что-то знает — настоящее, взрослое и тяжёлое.

Сердчишко моё трепыхалось. Валеркин взгляд будто отразился в нём. Я не мог, не имел права думать ничего плохого. Но что-то неведомое и горькое летало надо мной. Время от времени я сжимал глаза, и из меня вытекали слёзы. Я стыдливо смахивал их, и водитель замечал это. Он курил мягкую по-шофёрски папироску и неуверенно говорил мне:

— Всё будет хорошо, пацан! Всё будет хорошо, мальчик!

Где-нибудь через час он привёз меня к госпиталю, во двор, и хотя уже вечерело, почти сразу ко мне прибежала мама.

Она наклонилась ко мне и обняла меня. В белом халате, в строгой белой шапочке, она плакала и смеялась сразу.

— Сынок! — говорила она, захлёбываясь. — Сынок! Это нельзя придумать! Понимаешь! Это какое-то чудо! Такого не бывает, понимаешь!

Я кивал, как болванчик. Стоял и кивал головой, со всем соглашаясь, и ничего не понимая.

И тут она сказала!

Только тут она воскликнула:

— Папу! Опять! Привезли! Он снова ранен! И сейчас операция! А на чмед, когда я заплакала, послал за тобой свою машину.

И я закричал.

Я закричал не так, как кричат маленькие дети. Я закричал, как кричали от радости и горя дети сорок третьего года прошлого века.

Где-то шла война, и к нам она приходила по-всякому!

И страшной бедой. Но и нечаянной радостью!

Есть, есть что-то такое в небесах! И оно называется нечаянная радость. Неведомо, кому она даётся и за что?

И может, вовсе не за что... Никто этого не знает и никому не дано это ведать.

Я закричал, как взрослый. Я кричал не горлом, а всем своим существом, нутром, кишками! Я кричал легкими и сердцем, потому что мне показалось, будто меня ждёт самое страшное.

А оно оказалось радостным, счастливым, невероятным!

Я увижу снова папку. Ведь всё, что мы хотели, и в чём таилось моё понимание победы — спасение отца! Его возвращение!

И вот...

А точнее сказать, но вот...

Ведь его оперируют. Прямо сейчас. Именно здесь, где работает мама.

Мы повернулись и пошли к заднему крыльцу госпиталя. И именно в этот момент на него из здания вышла Валеркина бабушка, операционная сестра Ольга Николаевна. Она курит папиросы, как курят их милиционерши и шофера.

И вот она вышла, закурила папироску, втянула дым, потом выдохнула его. И только тут увидела нас.

— Всё в порядке! Не такая уж тяжёлая операция! Сложная, но не тяжёлая.

И мамочка наклонилась ко мне и обняла меня. И я повис у неё на шее.

28

И это была лишь половина войны, лето сорок третьего года.

Отец, как будто с Божьей помощью, второй раз оказавшись в госпитале, где работала мама, поправился и опять, уже в третий раз, ушёл на войну.

И долго ещё придётся ждать, пока он не вернётся с неё аж из Маньчжурии.

Он привезёт моей мамочке коробочку с тремя округлыми кусочками ароматного японского мыла. И ещё он привезёт маме отрез китайской светлой материи, похожей на крепдешин. Для платья. И это не были трофеи. Он сказал, что купил это на рынке у китайцев. В далёком далеке.

Но мамочка так и не сшила себе нарядное платье из восточной нарядной ткани.

Она подарила его моей невесте, будущей жене, когда мы решили жениться, и, одетое только один раз, оно хранится у нас по сей день.

Может, как добрая память об живших, страдавших, ушедших. О том, как всё это было.

Как мамочка моя — конечно же, мамочка! — вырастила, охранила, спасла меня...

29

А дядя Боря, папин брат, так и пропал без всякой вести. Его пудовая гиря совсем заржавела под старой сиренью. Никто и никогда не прикоснулся к ней с тех пор.

Где же лежит он?

Про это никогда и никто не узнает...